

The background of the cover is a painting. On the right, a woman in a dark hat and coat is shown in profile, looking towards the left. Her hand is extended, holding a small, ornate birdcage. Inside the cage, a small yellow bird is perched. The overall color palette is dominated by deep blues and greens, with the woman's face and the bird providing points of contrast.

Дюна Рубина

РУССКАЯ КАНАРЕЙКА

КНИГА 3

БЛУДНЫЙ
СЫН

18+

Дина Ильинична Рубина Русская канарейка.

Блудный сын

Серия «Большая проза Дины Рубиной»

Серия «Русская канарейка», книга 3

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8509736

Русская канарейка. Блудный сын: роман / Дина Рубина: Эксмо; Москва;

2015

ISBN 978-5-699-76883-7

Аннотация

Леон Этингер, уникальный контратенор и бывший оперативник израильских спецслужб, которого никак не отпустят на волю, и Айя, глухая бродяжка, вместе отправляются в лихорадочное странствие – то ли побег, то ли преследование – через всю Европу, от Лондона до Портофино. И, как во всяком подлинном странствии, путь приведет их к трагедии, но и к счастью; к отчаянию, но и к надежде. Исход всякой «охоты» предопределен: рано или поздно неумолимый охотник настигает жертву. Но и судьба сладкоголосой канарейки на Востоке неизменно предопределена.

«Блудный сын» – третий, и заключительный, том романа Дины Рубиной «Русская канарейка», полифоническая кульминация грандиозной саги о любви и о Музыке.

Содержание

Луковая роза	6
Конец ознакомительного фрагмента.	133

Дина Рубина

Русская канарейка.

Блудный сын

© Д. Рубина, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Посвящается Боре

Луковая роза

1

Невероятному, опасному, в чем-то даже героическому путешествию Желтухина Пятого из Парижа в Лондон в дорожной медной клетке предшествовали несколько бурных дней любви, перебранок, допросов, любви, пыток, воплей, рыданий, любви, отчаяния и даже одной драки (после неистовой любви) по адресу рю Обрио, четыре.

Драка не драка, но сине-золотой чашкой севрского фарфора (два ангелочка смотрят в зеркальный овал) она в него запустила, и попала, и ссадила скулу.

– Елы-палы... – изумленно разглядывая в зеркале ванной свое лицо, бормотал Леон. – Ты же... Ты мне физиономию расквасила! У меня в среду ланч с продюсером канала *Mezzo*...

А она и сама испугалась, налетела, обхватила его голову, припала щекой к его ободранной щеке.

– Я уеду, – выдохнула в отчаянии. – Ничего не получается!

У нее, у Айи, не получалось главное: вскрыть его, как консервную банку, и извлечь ответы на все категорические вопросы, которые задавала, как умела, – упреков неумолимый

взгляд в сердцевину его губ.

В день своего ослепительного явления на пороге его парижской квартиры, едва он разомкнул наконец обруч истосковавшихся рук, она развернулась и ляпнула наотмашь:

– Леон! Ты бандит?

И брови дрожали, взлетали, кружили перед его изумленно поднятыми бровями. Он засмеялся, ответил с прекрасной легкостью:

– Конечно, бандит.

Снова потянулся обнять, но не тут-то было. Эта крошка приехала воевать.

– Бандит, бандит, – твердила горестно, – я все обдумала и поняла, знаю я эти замашки...

– Ты сдурела? – потряхивая ее за плечи, спрашивал он. – Какие еще замашки?

– Ты странный, опасный, на острове чуть меня не убил. У тебя нет ни мобильного, ни электронки, ты не терпишь своих фотографий, кроме афишной, где ты – как радостный обмылок. У тебя походка, будто ты убил триста человек... – И встрепенувшись, с запоздалым воплем: – Ты затолкал меня в шкаф!!!

Да. В кладовку на балконе он ее действительно затолкал, – когда Исадора явилась наконец за указаниями, чем кормить Желтухина. От растерянности спрятал, не сразу сообразив, как объяснить консьержке мизансцену с полураздетой го-

стью в прихожей, верхом на дорожной сумке... Да и в кладовке этой чертовой она отсидела ровно три минуты, пока он судорожно объяснялся с Исадорой: «Спасибо, что не забыли, моя радость, – (пальцы путаются в петлях рубашки, подозрительно выпущенной из брюк), – однако получается, что уже... э-э... никто никуда не едет».

И все же вывалил он на следующее утро Исадоре *всю правду!* Ну, положим, не всю; положим, в холл он спустился (в тапках на босу ногу) затем, чтобы отменить ее еженедельную уборку. И когда лишь рот открыл (как в песне блатной: «Ко мне нагрянула кузина из Одессы»), сама «кузина», в его рубахе на голое тело, едва прикрывавшей... да ни черта не прикрывавшей! – вылетела из квартиры, сверзилась по лестнице, как школьник на переменке, и стояла-перетаптывалась на нижней ступени, требовательно уставясь на обоих. Леон вздохнул, расплылся в улыбке блаженного кретина, развел руками и сказал:

– Исадора... это моя любовь.

И та уважительно и сердечно отозвалась:

– Поздравляю, месье Леон! – словно перед ней стояли не два обезумевших кролика, а почтенный свадебный кортеж.

На второй день они хотя бы оделись, отворили ставни, заправили измученную тахту, сожрали подчистую все, что оставалось в холодильнике, даже полузасохшие маслины, и вопреки всему, что диктовали ему чутье, здравый смысл и

профессия, Леон позволил Айе (после грандиозного скандала, когда уже запроваденная тахта вновь взывала всеми своими пружинами, принимая и принимая неустанный сиа́мский груз) выйти с ним в продуктовую лавку.

Они шли, шатаясь от слабости и обморочного счастья, в солнечной дымке ранней весны, в путанице узорных теней от ветвей платанов, и даже этот мягкий свет казался слишком ярким после суток любовного заточения в темной комнате с отключенным телефоном. Если бы сейчас некий беспощадный враг вознамерился растащить их в разные стороны, сил на сопротивление у них было бы не больше, чем у двух гусениц.

Темно-красный фасад кабаре «Точка с запятой», оптика, магазин головных уборов с болванками голов в витрине (одна – с нахлобученной ушанкой, приплывшей сюда из какого-нибудь Воронежа), парикмахерская, аптека, мини-маркет, сплошь обклеенный плакатами о распродажах, брассерия с головастыми газовыми обогревателями над рядами пластиковых столиков, выставленных на тротуар, – все казалось Леону странным, забавным, даже диковатым – короче, абсолютно иным, чем пару дней назад.

Тяжелый пакет с продуктами он нес в одной руке, другой цепко, как ребенка в толпе, держал Айю за руку, и перехватывал, и гладил ладонью ее ладонь, перебирая пальцы и уже тоскуя по *другим, тайным* прикосновениям ее рук, не чая добраться до дома, куда плестись предстояло еще черт знает

сколько – минут восемь!

Сейчас он бессильно отметал вопросы, резоны и опасения, что наваливались со всех сторон, каждую минуту предъявляя какой-нибудь новый аргумент (с какой это стати его оставили в покое? Не пасут ли его на всякий случай – как тогда, в аэропорту Краби, – справедливо полагая, что он может вывести их на Айю?).

Ну не мог он без всяких объяснений запереть *прилетевшую птицу* в четырех стенах, поместить в капсулу, наспех слепленную (как ласточки слюной лепят гнезда) его подозрительной и опасливой любовью.

Ему так хотелось прогулять ее по ночному Парижу, вытащить в ресторан, привести в театр, наглядно показав самый расчудесный спектакль: постепенное преобразование артиста с помощью грима, парика и костюма. Хотелось, чтоб и ее пленил уют любимой гримерки: неповторимая, обворожительная смесь спертых запахов пудры, дезодоранта, нагретых ламп, старой пыли и свежих цветов.

Он мечтал закатиться с ней куда-нибудь на целый день – хотя бы и в Парк импрессионистов, с вензелистым золотом его чугунных ворот, с тихим озером и грустным замком, с картинным пазлом его цветников и кружевных партеров, с его матерыми дубами и каштанами, с плюшевыми куколями выстриженных кипарисов. Запастись бутербродами и устроить пикник в псевдояпонской беседке над водоемом,

под картувый лягушачий треп, под треск оголтелых сорок, любуясь плавным ходом невозмутимых селезней с их драгоценными, изумрудно-сапфировыми головками...

Но пока Леон не выяснил намерений *друзей из конторы*, разумнее всего было если не смыться из Парижа куда подальше, то, по крайней мере, отсидеться за дверьми с надежными замками.

Что там говорить о вылазках на природу, если на ничтожно малом отрезке пути между домом и продуктовой лавкой Леон беспрестанно озирался, резко останавливаясь и застревая перед витринами.

Вот тут он и обнаружил, что одетой фигуре Айи чего-то недостает. И понял: фотоаппарата! Его и в сумке не было. Ни «специально обученного рюкзака», ни кофра с камерой, ни этих устрашающих объективов, которые она называла «линзами».

– А где же твой *Canon*? – спросил он.

Она легко ответила:

– Продала. Надо ж было как-то к тебе добраться... Башли твои у меня тю-тю, спёрли.

– Как – сперли? – Леон напрягся.

Она махнула рукой:

– Да так. Один наркуша несчастный. Спер, пока я спала. Я его, конечно, отметелила – потом, когда в себя пришла. Но он уже все спустил до копейки...

Леон выслушал эту новость с недоумением и подозрением, с внезапной дикой ревностью, ударившей набатом в сердце: какой такой *наркуша*? как мог *спереть* деньги, когда она спала? в какой ночлежке оказался так вовремя рядом? и насколько же это *рядом*? или не в ночлежке? или не *наркуша*?

Мельком благодарно отметил: хорошо, что Владка с детства приучила его смиренно выслушивать любой невероятный бред. И спохватился: да, но ведь *эта* особа врать не умеет...

Нет. Не сейчас. Не вспугни ее... Никаких допросов, ни слова, ни намек на подозрительность. Никакого повода к серьезной стычке. Она и так искрит от каждого слова – рот открыть боязно.

Свободной рукой обнял ее за плечи, притянул к себе и сказал:

– Купим другую. – И, поколебавшись: – Чуть позже.

Честно говоря, отсутствие такой весомой приметы, как фотоаппарат, с угрожающими хоботами тяжелых линз-объективов, сильно облегчало их передвижения: перелеты, переезды... исчезновения. Так что Леон не торопился восполнить потерю.

Но скрывать Айю, неуправляемую, издалека заметную, не открывшись перед ней хотя бы в каких-то разумных (и в каких же?) пределах... задача была не из легких. Не мог же он, в самом деле, запираить ее в кладовке на время своих отлучек!

Он ужом вертелся: понимаешь, детка, не стоит тебе одной

выходить из дома, здесь не очень спокойный район, много шляется разной сволоты – сумасшедшие, маньяки, полно каких-то извращенцев. Никогда не знаешь, на кого наткнешься...

Глупости, хмыкала она, – центр Парижа! Вот на острове, там да: один сумасшедший извращенец заманил меня в лес и чуть не задушил. Вот там было о-о-очень страшно!

– Ну хорошо. А если я просто тебя попрошу? Пока без объяснений.

– Знаешь, когда наша бабушка не хотела что-то объяснять, она кричала папе: «Помолчи!» – и он как-то сникал, не хотел старуху огорчать, он же деликатный.

– В отличие от тебя.

– Ага, я совсем не деликатная!

Слава богу, она хотя бы к телефону не подходила. Звонки Джерри Леон игнорировал и однажды просто не открыл ему дверь. Филиппа водил за нос и держал на расстоянии, дважды отклонив приглашение поужинать вместе. Две ближайшие репетиции с Робертом отменил, сославшись на простуду (вздыхал в трубку бесстыжим голосом: «Я ужасно болен, Роберт, ужасно! Перенесем репетицию на... да я сам позво-ню, когда приду в себя», – и, похоже, небу следовало упасть на землю, чтобы он *пришел в себя*).

Ну, а дальше, как дальше-то быть? И сколько они смогут так отсиживаться – звери, обложенные опасным счастьем?

Не может же она торчать с утра до вечера в квартире, как Желтухин Пятый в клетке, вылетая погулять под присмотром Леона по трем окрестным улочкам. Как объяснишь ей, не раскрываясь, странное сопряжение его светской артистической жизни с привычной, на уровне инстинкта, конспирацией? Какими отмеренными в гомеопатических дозах словами рассказать про *контору*, где целая армия специалистов считает недели и дни до часа икс в неизвестной бухте? Как, наконец, не потревожив и не вспугнув, нащупать бикфордов шнур в тайный мир ее собственных страхов и нескончаемого бегства?

И вновь накатывало: насколько, в сущности, они беззащитны оба – два беспризорника в хищном мире всесветной и разнонаправленной охоты...

* * *

– Мы поедем в Бургундию, – объявил Леон, когда они вернулись домой после первой хозяйственной вылазки с чувством, что совершили кругосветное путешествие. – В Бургундию поедем, к Филиппу. Вот отпою спектакль тринадцатого, и... да, и четырнадцатого запись на радио... – Вспомнил и простонал: – О-о-о, еще ведь концерт в Кембридже, да... Но потом! – увлекательно и бодрым тоном: – Потом мы обязательно уедем на пять дней к Филиппу. Там леса, козули-зайцы... камин и Франсуаза. Ты влюбишься в Бургун-

дию!

За туманную кромку этих пяти дней боялся заглядывать, ничего не соображал.

Он вообще сейчас не мог соображать: все внимание его, все нервы, все несчастные интеллектуальные усилия были направлены на то, чтобы ежесекундно держать круговую оборону против своей возлюбленной: вот уж кто не заботился о подборе слов, кто забрасывал его вопросами, не спуская требовательных глаз с его лица.

– А как ты узнал наш адрес в Алма-Ате?

– Ну-у... Ты же его называла.

– Врешь!

– Да это простейшая задача справочной службы, клещ ты мой ненаглядный!

Как-то выходило, что ни на один ее вопрос он не мог дать правдивого ответа. Как-то получалось, что вся его крученая-верченая, как пороссячий хвост, проклятая жизнь была вплетена в замысловатый ковровый узор не только личных тайн, но и совершенно закрытых сведений и кусков биографий – и своей, и чужих, – на изложение которых, даже просто на намек он права не имел. Его Иерусалим, его отрочество и юность, его солдатская честная и другая, тайная, рискованная, а порой и преступная по меркам закона жизнь, его блаженно растворенный в глотке, гортанно перебирающий связки *запретный* иврит, его любимый *богатый* арабский

(который он иногда прогуливал, как пса на поводке, в какой-нибудь парижской мечети или в культурном центре где-нибудь в Рюэе) – весь огромный материк его прошлого был затоплен между ним и Айей, как Атлантида, и больше всего Леон боялся момента, когда, отхлынув естественным отливом, их утоленная телесная жажда оставит на песке следы их беззащитно обнаженных жизней – причину и повод задуматься друг над другом.

Пока спасало лишь то, что квартирка на рю Обрио была до краев заполнена подлинным и насущным сегодняшним днем: его работой, его страстью, его Музыкой, которую – увы! – Айя не могла ни прочувствовать, ни разделить.

С осторожным и несколько отчужденным интересом она просматривала на «Ютьюбе» отрывки из оперных спектаклей с участием Леона. Выбеленные гримом персонажи в тогах, кафтанах, современных костюмах или мундирах разных армий и эпох (загадочный выплеск режиссерского замысла) неестественно широко разевали рты и подолгу так застревали в кадре, с идиотским изумлением в округленных губах. Их чулки с подвязками, ботфорты и бальные тапочки, пышные парики и разнообразные головные уборы, от широкополых шляп и цилиндров до военных касок и тропических шлемов, своей неестественной натужностью просто приводили в оторопь нормального человека. Айя вскрикивала и хохотала, когда Леон появлялся в женской роли, в костюме

эпохи барокко: загримированный, в пудренном парике, с кокетливой черной мушкой на щеке, в платье с фижмами и декольте, обнажавшем слишком рельефные для женского образа плечи («Ты что, лифчик надевал для этого костюма?» «Ну-у... пришлось, да». «Ватой набивал?» «Зачем, для этого есть специальные приспособления». «Ха! Бред какой-то!» «Не бред, а театр! А твои “рассказы” – они что, не театр?»).

Она старательно пролиستала пачку афиш, висящих за дверью в спальне, – по ним можно было изучать географию его передвижений в последние годы; склонив голову к плечу, тихо трогала клавиши «стейнвея»; заставила Леона что-то пропеть, напряженно следя за артикуляцией губ, то и дело вскакивая и припадая ухом к его груди, будто стетоскоп прикладывала. Задумчиво попросила:

– А теперь – «Стаканчики граненые»...

И когда он умолк и обнял ее, покачивая и не отпуская, долго молчала. Наконец спокойно проговорила:

– Только если всегда сидеть у тебя на спине. Вот если бы ты басом пел, тогда есть шанс услышать... как бы издалека, очень издалека... Я еще в наушниках попробую, потом, ладно?

А что – потом? И – когда, собственно?

Она и сама оказалась отменным конспиратором: ни слова о главном. Как он ни заводил осторожных разговоров о ее лондонской жизни (подступался исподволь, в образе ревнивого любовника, и видит бог, не слишком притворялся), все-

гда замыкалась, сводила к пустякам, к каким-нибудь забавным случаям, к историям, произошедшим с нею самой или с ее безалаберными друзьями: «Представляешь, и этот де-тина, размахивая пистолетом, рывкает: живо ложись на землю и гони *мани!* А Фил стоит как дурак с гамбургером в руках, трясется, но жалко же бросить, только что купил горячий, жрать охота! Тогда он говорит: “А вы не могли бы поддержать мой ужин, пока я достану портмоне?” И что ты думаешь? Громила осторожно берет у него пакет и терпеливо ждет, пока Фил рыщет по карманам в поисках кошелька. А напоследок оставляет ему пару фунтов на проезд! Фил всё потом изумлялся – какой гуманный попался гангстер, прямо не бандит, а благотворитель: и от гамбургера ни разу не отхарчил, и дорогу до дому профинансировал...»

Леон даже засомневался: может, в *конторе* ошиблись – вряд ли она бы выжила, если б кто-то из *профессионалов* поставил перед собой цель ее уничтожить.

Но что правда, то правда: была она чертовски чувствительна; мгновенно реагировала на любое изменение темы и ситуации. Про себя он восхищался: как это у нее получается? Ведь ни интонации не слышит, ни высоты и силы голоса. Неужели только ритм движения губ, только смена выражений в лице, только жесты дают ей столь подробную и глубокую психологическую картину момента? Тогда это просто детектор лжи какой-то, а не женщина!

– У тебя меняется осанка, – заметила она в один из этих

дней, – пластика тела меняется, когда звонит телефон. Ты подбираешься к нему, будто выстрела ждешь. А в окно смотришь из-за занавеси. Почему? Тебе угрожают?

– Именно, – отозвался он с глуповатым смешком. – Мне угрожают еще одним благотворительным концертом...

Он шутил, отбрехивался, гонялся за ней по комнате, чтобы схватить, скрутить, обцеловать...

Два раза решился на безумие – выводил ее погулять в Люксембургский сад, и был натянут как тетива, и всю дорогу молчал – и Айя молчала, будто чувствовала его напряжение. Приятная вышла прогулочка...

День ото дня между ними вырастала стена, которую строили оба; с каждым осторожным словом, с каждым уклончивым взглядом эта стена становилась все выше и рано или поздно просто заслонила бы их друг от друга.

* * *

Через неделю, вернувшись после концерта – с цветами и сластями из полуночного курдского магазина на рю де ля Рокетт, – Леон обнаружил, что Айя исчезла. Дом был пуст и бездыханен – уж Леонов-то гениальный слух мгновенно прошупывал до последней пылинки любое помещение.

Несколько мгновений он стоял в прихожей, не раздеваясь, еще не веря, еще надеясь (пулеметная лента мыслей, и ни одной толковой, и все тот же ноющий в «поддыхе» ужас, будто

ребенка в толпе потерял; мало – потерял, так его, этого ребенка, и не докричишься – не услышит).

Он заметался по квартире – с букетом и коробкой в руках. Первым делом, вопреки здравому смыслу и собственному слуху, заглянул под тахту, как в детстве, дурачки надеясь на шутку – вдруг она там спряталась-замерла, чтобы его напугать. Затем обыскал все видимые поверхности на предмет оставленной записки.

Распахнул дверцы кладовки на балконе, дважды возвращался в ванную, машинально заглядывая в душевую кабину – словно Айя могла вдруг материализоваться там из воздуха. Наконец, бросив на стиральной машине букет и коробку с булочками (просто чтобы дать свободу рукам, готовым смять, ударить, отшвырнуть, скрутить и убить любого, кто окажется на пути), выскочил на улицу как был – в смокинге, в бабочке, в накинutom, но не застегнутом плаще. Презируя себя, умирая от отчаяния, беззвучно повторяя себе, что у него наверняка уже и голос пропал *на нервной почке* («и черт с ним, и поздравляю – недолго музыка играла, недолго фрэер танцевал!»), минут сорок он болтался по округе, отлично сознавая, что все эти жалкие метания бессмысленны и нелепы.

На улицах и в переулках квартала Марэ уже пробудилась и заворочалась еженощная богемная жизнь: мигали лампочки над входом в бары и пабы, из открытых дверей выпархивали струйки блюза или утробная икота рока, за углом по

чьей-то пухлой кожаной спине молотили кулачки и, хихикая и всхлипывая, изнутри этого кентавра кто-то выкрикивал ругательства...

Леон заглядывал во все подвернувшиеся заведения, спускался в полуподвалы, обшаривал взглядом столы, ощупывал фигуры-спины-профили на высоких табуретах у стоек баров, топтался у дверей в дамские комнаты в ожидании – не выйдет ли она. И очень зримо представлял ее под руку с кем-нибудь из этих... из вот таких...

В конце концов вернулся домой в надежде, что она слегка заблудилась, но рано или поздно... И вновь угодил в убийственную тишину со спящим «стейнвеем».

На кухне он выхлестал одну за другой три чашки холодной воды, не думая, что это вредно для горла, тут же над раковиной ополоснул вспотевшие лицо и шею, заплескав отвороты смокинга, приказал себе уняться, переодеться и... думать, наконец. Легко сказать! Итак: в прихожей не оказалось ни плаща ее, ни туфель. Но чемодан-то в углу спальни, он...

Да что ей чемодан, что ей чемодан, что ей все на свете чемоданы!!! – это вслух, заполошным воплем... А может, она ускользнула, почуяв опасность? Может, в его отсутствие сюда явился какой-нибудь Джерри (по какому праву Натан приволок этого типа, подарив полную свободу появлений в моей частной жизни, – черт побери, как я их всех ненавижу! бедная моя, бедная гонимая девочка!).

...Вернулась она в четверть второго.

Леон уже разработал стратегию поиска, стал собран, холоден, знал, где и через кого раздобудет оружие, и был полностью готов к любому сценарию отношений с *конторой*: шантажировать их, торговаться с ними, угрожать. Если понадобится, идти до последней черты. Ждал трех часов ночи, чтобы первым делом нагрянуть к Джерри – *правильным образом*...

И вот тогда в замке простодушно и обыденно крякнул ключ, и вошла Айя – оживленная, в распахнутом плаще, с букетом пунцовых хризантем («от нашего стола – вашему столу»). Ее щеки, надраенные ветерком, тоже нежно-пунцовые, так чудно отзывались и хризантемам, и полуразвязанному белому шарфику на белой шее, а широкий разлет бровей так победно реял над ее *фраумскими* глазами и высокими скулами...

Леон призвал все силы, всю свою выдержку, чтобы спокойно снять с нее плащ – руками, подрагивающими от бешенства; сдержанно коснулся губами леденцовых от холода губ и не сразу, а целых полминуты спустя спросил, улыбаясь:

– Где ты была?

– Гуляла. – И дальше охотно, с шутливым удовольствием: представь, облазила все вокруг и обнаружила, что года четыре назад меня сюда приводили в студию к одному фотографу. Может, ты с ним знаком? Он работает в таком размыва-

ющем стиле типа «романтизм», загадочный полет в рапиде. Мне-то лично никогда не нравились эти трюки, но есть любители подобного застарелого дерьма...

– Ты, верно, забыла, что я просил без меня не... – всё еще улыбаясь, оборвал он.

И она, тоже улыбаясь в ответ:

– Может, стоит на меня уж и колодки надеть?

После чего оба заорали, спущенные с поводков, сблизив разъяренные лица, будто собираясь сшибиться лбами.

Он орал как резаный, чуть не впервые в жизни (вот где дремал до поры до времени *повышенный звуковой фон Дома Этингера*: в потайном ядре его страхов, выпущенных на свободу), наслаждался: можно выораться всласть, стены бывшей конюшни вынесут пронзительную сирену разъяренного контратенора, а эта *глухомань* все равно ни черта не услышит; можно выорать весь минувший страх за нее, бешенство и ненависть (да, да, ненависть!!! – как он мог, безумец, окончательно спятивший на *этой помойной оторве*, представить себе, что *контора*... да нет, его друзья, его соратники! – могут переступить с ним черту, которую!!!)

Айя выпевала, оплетая собственное лицо плеском обезумевших ладоней:

– Я-а-а уе-е-еду-у-у!!! Я-а не в тюрьме-е-е! Не в тюрьме-е-е!!!

Он тихо произнес, четко выговаривая:

– Ни пуха, ни праха!

Ушел в спальню, хлопнул дверью, рухнул на тахту лицом вниз.

Через пять минут, отгрохотавших в его висках, она вошла на цыпочках, легла рядом и стала тихо гладить его плечи несусветными своими руками – гладить, перебирать, танцевать и вышивать пальцами. Прокралась ладонями под свитер, переплела руки у него на животе, вжалась грудью в его спину, сказала хрипло, гундосо:

– Не прогоняй меня...

Он взвыл, перевернулся, взвился над нею...

...и так далее...

Но не эта очередная – исступленная, упоительная, горькая, сладкая – ссора оказалась переломной в их первых мучительных днях.

Перелом наступил чуть позже, под утро.

Впоследствии, вспоминая эти минуты, он мысленно произносил: «Хамсин сломался» – как говорят обычно в Иерусалиме, когда вся тяжесть пустынного ветра с мутной взвесью песка, с его трехдневным мороком и тоской, с его удушьем в вязком плотном воздухе внезапно дрогнет; прогнется и освободит стрелу невидимая тетива, неизвестно откуда потянет налетевшим ветерком. Провеется воздух, становясь все прозрачнее и свежее – и вдруг рассеется обморок и

тлен, как не было их, и певуче округлятся застывшие гребни волн Иудейской пустыни, а фиолетовый шелк туго обтянет далекие призывные груди Иорданских гор.

Она уже засыпала, и он почти заснул, и другой бы не услышал, что там она бормочет на выдохе, но он своим тончайшим слухом уловил и эти несколько слов:

– Гюнтер тоже... – бормотнула она, – те же уловки...

Леон открыл глаза: будто ткнули кулаком под ребро; перестал дышать... Тихо обнял ее, чтобы и во сне она его *услышала*, легко и внятно шепнул:

– Кто это – Гюнтер? Твой бывший *хахаль*?

Она открыла глаза, два-три мгновения испуганно глядела в потолок... вновь опустила веки и – в полусне, жалобно:

– Нет, Фридриха сын... *Нох айн казахе...*

И уже до утра Леон не заснул ни на минуту. Встал, оделся, долго сидел в кухне, не зажигая лампы, то и дело вскакивая и высматривая в окно предрассветную, погруженную в сонный обморок улочку, монастырскую стену напротив, желтую в свете навесных фонарей.

Вошел и постоял в гостиной. Свет уличного фонаря лепил на крышке «стейнвей» рельефы двух серебряных рамок с фотографиями: юная Эська с бессмертным кенарем и полслетифозная, в рыжем «парике парубка» Леонор Эсперанса. Глубокий и тайный колодезь, что-то запретное, смутное,

нежное (он говорил себе: *политональное*) между двумя этими давно минувшими лицами – бездна, из которой извлечены были его имя и образ.

Он повторял себе, что дольше так тянуться не может, что бездействие и обоюдное их молчание смертельно опасны, что время не ждет: их непременно выследят, если не мясники Гюнтера, то уж за милую душу – острые *следаки конторы*.

И неужели, жестко спросил он себя, неужели дела *конторы* ближе тебе и дороже, чем твоя – наконец-то встреченная – твоя, твоя женщина?!

Нет, моя жизнь не станет вашей мишенью. Никаких уступок! И Айю вы не получите!

И уже знал, что способен на все: сопротивляться, пружинить и ускользать. Если понадобится – лгать и шантажировать. Если придется – убивать...

Утром был готов к разговору.

Долго стоял под душем, запрокинув лицо, будто вспоминая, для чего вообще сюда забрался. Тщательно, не торопясь, побрился, натянул тонкий черный пуловер и черные джинсы – любимый рабочий прикид, в котором обычно репетировал (хотя знал, что ждет его отнюдь не репетиция, а один из решающих в жизни *выходов*). Глянул в зеркало и отшатнулся: лицо какое-то костяное, диковатые гиблые глаза... Мда: герой-любовник, иначе не скажешь.

Айя все спала. И пока готовил ей завтрак, Леон напряженно размышлял только над тем, как проведет их двухвесьсельную лодочку в фарватере опасной беседы, с чего начнет этот немыслимый разговор, что *сможет* рассказать, а что *должен* скрыть. О чем будет ее умолять, какую отсрочку выпрашивать.

Он готовился к разговору. И все же – *как это отныне всегда между ними будет* – опоздал.

Она вышла из спальни – тоже полностью одетая. Так стеснительная гостя для любого прошмыга по коридору облачается чуть ли не в парадный костюм, включая перчатки и шляпу.

Он поднял голову и опешил. И она растерялась, увидев его одетым, выбритым, напряженным: оба вышли друг к другу, как переговорщики в судьбоносном процессе между двумя государствами.

– Ты... что это? – озадаченно спросил он. – Куда собралась?

– А ты куда? – в ответ спросила она. И стояли оба, как тогда, на острове – чужие, но одного роста, незнакомые, но с одинаковым выражением в глазах; настороженно оглядывали друг друга – два беспризорника в опасном и враждебном мире.

И разом она побелела, будто в эту минуту узнала и решительно приняла какую-то безысходную весть.

– Присядь, – сказала. – Леон, я тебе... несколько слов. Не могу больше...

Молча сели друг против друга за столик величиной с поднос в столовке Одесского судоремонтного. И Айя заговорила, запинаясь, умолкая, выпаливая по два-три слова, не помогая себе, как обычно, руками-певуньями, а пряча их на коленях, заталкивая между колен и под столом ломая, выкручивая пальцы, заставляя их молчать.

– Я поняла, что должна уехать, – сегодня, сейчас... Подожди, дай сказать, а то... а то я заплачу раньше времени, я же плакса. Родной мой... видишь, как все у нас получается... Молчи! – вскрикнула высоко, болезненно, будто палец прищемила. Неожиданно для себя заговорила быстро, сосредоточенно, задыхаясь и торопясь: – Вот я уже как бабушка моя... Но я просто не имею права подставлять тебя, это подло. Погостила у тебя, отдохнула, измучила тебя совсем... Спасибо тебе! А дальше буду сама, пока получается, а не то... тебя убьют вместе со мной.

Она прерывисто вздохнула, не сводя с его лица страдальческих, недоуменных глаз.

– Но не только это... Вот ты, мой хороший. Я ничего про тебя не знаю, не понимаю, я совсем в тебе запуталась, только подозреваю *во всем*, потому что научена, затравлена, однажды уже убита. И потому, что видала их, *таких, как ты*. Ты что-то прячешь в своей жизни, надежно, тщательно прячешь. Может, и не свои секреты, скорее всего, не свои, иначе

ты бы так не упорствовал, не ускользал от меня, не запирали решетки-двери и замки не навешивал. Не знаю, как это называется, – ну, подскажи, помоги мне – *шпионаж*? Ох, прости, благороднее: *разведка*, да? Хорошо, не важно. Просто я сыта по горло *такими людьми*. Ты похож на одного типа – повадка, привычки, скрытность: туда не иди, телефон не бери, убью, если рот откроешь. *Нох айн казахе...* И неважно, что ты еще и Голос. Я говорю о сути, о повадке: человек может быть кем угодно – ученым, бизнесменом, художником, певцом. Но приходит минута, когда он... когда *такие люди, как ты и он*, мягко ступают и сдавливают другому горло. Молчи, ради бога, молчи!.. Невыносимо, если ты опять начнешь изворачиваться!

По ее лицу уже катились слезы, свободно и обильно, и она их не отирала, будто слезы эти не имели к ней и к тому, что она говорит, ни малейшего отношения. Так в доме продолжается обыденная жизнь, когда снаружи по стеклу бегут и бегут струи дождя.

– Или не горло, а что там? Глаза выдавить? Нож всадить? Наверное, это нужно кому-то – ну, там, странам, народам, правительствам, очередному богу... Видишь, я даже не спрашиваю подробностей, не до того мне. Я давно убегаю и убегаю, иначе меня убьют...

Она опять выдохнула с мучительной натугой, горько усмехнулась и покачала головой, рассеянно проводя ладонью по лбу, стирая детское удивление в бровях:

– Все время думаю, какого лешего я сюда приволоклась – за тыщи километров, в то же логово – ну, может, наизнанку, – но с теми же правилами игры? Пока летела, все допрашивала себя: зачем, зачем ты это делаешь, дура? Глупой бабочкой – к тебе.

И сосредоточенно хмурясь, будто пытаюсь дознаться – у него, у самой себя:

– Как меня угораздило тебя полюбить? Не влюбиться; мне втюриться в живописную рожу – плюнуть раз. А вот нет же: так нестерпимо полюбить – как нарыв в сердце, и невозможно жить, когда отнимаешь руку... Постой, не перебивай, не путай меня, и так кавардак в башке. По порядку: не хочу притаскивать к тебе свою смерть, не хочу тебя подставлять. У тебя наверняка *свои дела в этом бизнесе* – тоже какие-нибудь контракты, фрахтовые ведомости, грузовые перевозки. Вся эта тайная возня, связанная с очередной дерьмовой бомбой? Или с чем-то вроде? Какие-нибудь многоходовки оружейных концернов, поставки чего-то там, только в другие регионы? Я ошибаюсь? Ну, в общем: чтобы люди друг друга взрывали, стреляли, выжигали... и на всякий случай убить того, кто случайно сунул нос в эту вонючую кучу. Но ты еще и поёшь! Поёшь прекрасным женским голосом – наверняка убийственно прекрасным, если столько людей им восхищаются. Жаль, не могу услышать. Поёшь, как сирена, – так, что забывается боль? Как ангел смерти ты поёшь, да, Леон? А я...

Он вскочил и отшвырнул стул...

Бросился – в книгах читал, на сцене видел, сам проделывал – в ролях! – но не подозревал, что такое может случиться с ним *наяву*, и не представлял, что в жизни это выглядит так нелепо, не грациозно, унижительно – *бросился к ногам*: то есть рухнул на пол и вцепился в ее колени, сильно сжал их обеими ладонями, щекой прижался, зажмурил глаза.

Сердце бухало в ее колени, как пенный прибор.

– Нет, нет, – отрывисто и глухо бормотал он, – нет, Айя, не получится от меня убежать. Посмотри на меня! – Вскинул голову, взял ее лицо в ладони: – Я тебе сейчас не все могу сказать. Сейчас. Да тебе и не нужны подробности. Ты права: проклятые игры... Но я тебя убивать не да-ам!.. Я этого не!!!.. Я потому и согласился, потому и преследую их... Слушай меня! Ты мне веришь? Не веришь. Хорошо, не верь. Не верь мне! Только никуда от меня ни на шаг. Ни на шаг! Это – единственное, о чем прошу. Обещай мне!

Она молча смотрела на него жадно-подробным взглядом, словно по жилочкам перебирала все его лицо, как снимок форматировала, отбрасывая несущественное, вытягивая выразительные черты, усиливая светом рельеф.

– Ты вот сказала: я убил триста человек. Нет уж, теперь ты помолчи! Помолчи, потому что ты... права, да. Ну, не триста, но... я понимаю тебя... Когда ты спросила меня: *Леон-ты-бандит*, у меня все внутри обвалилось. Потому что

я... да, я убивал людей. У меня была такая жизнь, я был солдатом, понимаешь? Не могу всего рассказать, но – хорошим солдатом, а потом – хорошим охотником и сторожевым псом, и ищейкой, и волкодавом... да просто волчарой! Слишком много людей надо было спасти, при этом – именно – убивая других. Есть такой библейский закон – убить убийцу. Убить его прежде, чем он успеет отнять чью-то жизнь. Так убивают скорпионов, ядовитых змей, заползших в дом. Так жизнь моя сложилась, понимаешь, такое непростое место, где я вырос. Послушай, любовь моя, это долго рассказывать. И дальше мне нет ходу, не имею права: «кирпич»! Настанет время, и ты будешь знать обо мне все, все!.. да ты и сейчас все знаешь – поджилками, поддыхом, сердцем, грудками своими, – иначе не приехала бы, ты же такой человек... от-вра-ти-тельно трудный! Но ты со своей вреднучей дотошностью – ты уймись пока, а? Пока только пойми, что всё наоборот: я с теми, кто охотится за этими вот торговцами смертью, за спекулянтами тел, разорванных на куски... Правда, для нас с тобой сегодня все еще сложнее, еще зловещее, и я не могу пока объяснить тебе – почему. Когда-нибудь – надеюсь, скоро – я все тебе расскажу. Пока только прошу: не думай обо мне *так* – не запускай свою мысль в этот ужасный штопор. Пока просто: ни шагу! никуда! от меня... чтобы мы оба остались живы. Я понятно объяснил?

Она молча кивнула, хотя все, что он бормотал, ловя ее руки, вытаскивая их из ее намертво сведенных колен, прижи-

мая ее ладони к своему лицу и не пытаюсь ни поцеловать ее, ни обнять, – все было дико и необъяснимо. Но ей не слова были нужны, а вот это его измученное лицо, смятое болью, – как там, в аэропорту, когда она ничего не могла понять, и все было наперекосяк: настоящее его лицо за мутными словами-заслонками.

Он вскочил, подхватил с пола и твердо поставил стул, придвинул к ней тарелку, вывалил из сковороды горку остывшей яичницы.

– Ешь вот, я приготовил. Ну все, все, больше ни слова, ешь! – Оседлал стул, уставился, будто лично хотел проследить, как она станет глотать и жевать. – Постой, я посолить забыл! – схватив солонку, нервно принялся взбивать ею воздух над тарелкой.

Господи, какое облегчение...

– Ты пересолишь! – крикнула она, хватая его руку.

И оба вскочили и над этой неудачной, этой прекрасной яичницей судорожно обнялись, что-то бурно и бестолково продолжая договаривать, перебивая друг друга, хватая друг друга за руки, за плечи, торопясь объяснить, что... невозможно, понимаешь... я не все волен тебе...

– А я тебе – все, все расскажу сейчас до капельки и навсегда!

– погоди, не части, дослушай... Ты только знай, что если запрусь, то это – не мое. А то мое, что и твое, это... Аяя, пойми, у меня же, кроме тебя...

– ...нет, я тебе только хотела сказать...

– ...это я тебе хотел сказать, моя любимая!

И все было почти как там, на острове, когда она произнесла: «Желтухин», а он сказал: «Дядя Коля Каблуков», – и весь мир извергнулся салютом двух жизней; только там этот захлеб был скорее изумлением, небывалой встречей, увлекательным сюжетом, вроде «Сколько-то там тысяч лье под водой», не то что сейчас, когда каждая клеточка проросла острым ростком обоюдной боли, и опасно тронуть...

...и залечить все можно только прикосновением губ, только осторожным пунктиром диковато-пугливых поцелуев-вопросов, и отчаянных, решительных поцелуев-ответов, и поцелуев-оборванных монологов, и поцелуев-догадок, поцелуев-окликов, поцелуев-признания, и наконец, поцелуев-молчания...

Долгого, долгого молчания... давно опустевшей кухни.

Через час Леон – собранный, пружинистый, коротко задающий вопросы – по мнению Айи, нелепые или очевидные, – уже видел всю кошмарную картину последних месяцев ее жизни.

Все просто, понимаешь, торопливо, с облегчением, с огромным увлечением, даже страстно объясняла она, вскакивая, мотаясь по комнате и *договаривая* детали вновь отпущенными на волю руками. Надо просто четко следовать правилам.

– Каким правилам?

– Как, ты не знаешь? Вот смотри: никогда не садись в первое такси – только во второе, а лучше в третье. Никогда не лови попуток. Все время меняй места ночлега, еще лучше – все время будь в дороге, в толпе, в автобусе, в поезде, среди людей... Выходи почаще из автобуса, пересаживайся, возвращайся... Хорошо, когда магазины большие и насквозь – с несколькими входами: можно выскользнуть. В кармане куртки или в рюкзаке всегда иметь два головных убора – красный берет и... и какую-нибудь серую косынку. Зашла в туалет, нацепила берет, черные очки и... Вообще, это забавно, какое-то время мне даже... ну, не то чтобы нравилось, а как-то... держало в тонусе: неожиданно менять планы, даже если никому о них не говоришь. Тебя приглашают на выставку в Суррей, ты пишешь: «Спасибо, непременно буду», сядишься в поезд и едешь в... Ричмонд – просто так, погулять; только не оставаться на месте, всегда выбирать третий путь. Необъяснимость действий, спонтанность решений – то, что *они* не могут просчитать. Если посылаешь папе эсэмэску – сразу вырубай мобилу и уезжай... Еще полезно сим-карты менять. Порвать все связи, не отвечать на звонки, на мэйлы... Я даже с Михаль прекратила переписку, а я знаешь, как люблю Михаль!

Она задумывалась и затихала, вспоминая, и он не торопил ее. Спыхватывалась и чуть ли не хвастливо перечисляла еще какие-нибудь свои бог знает откуда почерпнутые *мето-*

ды ускользания:

– А, вот еще, забыла: у меня есть водительские права на имя Камиллы Робинсон, украла у девчонки в студенческом хостеле, до сих пор стыдно, но по ним можно кое-где передвигаться. Жаль, в самолет с ними не пролезешь... Но в какой-нибудь пансион, в какую-нибудь ночлежку – плюнуть раз... А вообще, всегда полезно попроситься к дальним знакомым из другой жизни. И в совсем чужом или подозрительном месте надо обязательно делать «куклу». Понимаешь?

– Нет.

– Ну-у... Просто не ложись в ту постель, что для тебя приготовлена. Кладешь туда рюкзак, шмотки, полотенца... Художественно камуфлируешь, как бы человек с головой укрылся.

– А сама...

– А сама – как получится. Однажды всю ночь просидела на подоконнике за занавеской. Но он был довольно широким, подоконник.

– Послушай, мое сокровище. Откуда ты всего этого набралась?

Она недоверчиво смотрела на него, высоко подняв свои полетные брови, искренне удивляясь:

– Да ты что! Я, когда поняла, что меня ждет, – после той встречи с Большой Бертой, – скачала из Интернета все шпионские романы и выучила все правила, как уходить от пого-ни. Я тебе отбарабаню все методы слежки за объектом: пра-

вильная *наружка* – это всегда бригадой. Иногда преследователи идут «гуськом» – обгоняя объект, как бы передают его друг другу; или по обеим сторонам улицы идут... А есть еще метод «коробка» – когда «закрывают» все входы и выходы в здании. А есть «провокация» – это когда объекту демонстрируют агрессивную слежку. Короче, в романах все есть, на любой случай: писатели ведь тоже консультируются со специалистами, это же ясно.

Это ясно. Это просто сойти с ума – вот так-то, ночью, на подоконнике за занавеской. Да, крепкий орешек твоя драгоценная глухая приبلуда...

Сейчас он понимал, почему она не побоялась причалить к нему на острове – к нему, незнакомцу, *нох айн казахе*... «Стаканчики граненые» – вот был пароль. Он, Леон, был «своим», из детства явился, из отцова гнезда – посланец Желтухина. И потому так доверчиво подошла и заговорила по-русски, домашним языком, с домашними интонациями, будто к отцу обращалась. И ела из его рук, и так бурно, так много говорила, что даже показалась болтушкой...

А теперь представь, что она пережила там, в лесу, когда ты завел ее в чащу и сдавил ей горло. Какие мысли мелькнули в ее голове? Господи, затоптать бы это подлое воспоминание...

А она все тормозила его и требовала, чтобы он еще, еще

спрашивал, готова была рассказывать, объяснять, уточнять подробности, описывать приметы внешности, характерные жесты, повадки, походки, словно дождалась наконец той минуты, когда ее природная наблюдательность, ее острый глаз и незаурядное умение сопоставлять обрывки случайно «увиденных» слов, обобщая, вытягивая общий смысл, окажутся не то что востребованными, а жизненно необходимыми – для Леона, для нее самой, для их будущего. Впервые за эти месяцы разомкнулся железный ошейник, защелкнутый у нее на загривке; впервые она чувствовала себя защищенной; чувствовала, что не одна. Бросалась к Леону, обеими руками энергично и азартно трясла за плечи:

– Ну, спроси еще, спроси, что хочешь!

Он же, наоборот, пытался ее расслабить, успокоить, чтобы затем неожиданным вопросом-крючком выдернуть из памяти то, о чем она, возможно, забыла упомянуть, или подсознательно боялась тревожить, или считала неинтересным.

Леон уже не был уверен, что *Гюнтер* добивался ее смерти. Припугнуть, чтобы не повадно было лезть куда не просят, это – возможно...

Он уже знал весь маршрут ее передвижений, все места, где она нанималась подработать, все ее контакты, всех знакомых, приятелей, обидчиков и врагов. С каменным лицом, со сжатыми челюстями выслушал *историю убийства в Рио* (как она это называла) – не настаивал, сама захотела все рассказать, и видно было: столько раз *описывала, проговари-*

вала это себе самой, столько прокручивала, выжимая трагедию досуха, что вслух получался протокольный перечень ужасных минут: сорвали фотоаппарат, поволокли, и когда она лягнула в мошонку того, огромного, жирного, другой – мозгляк, усики ниточкой – ударил сзади по голове. И больше ничего – до всплывшего медленной мутной луной плафона дневного света в палате, после трех дней черной комы.

В конце концов она с облегчением повалилась на тахту, выдохнула с протяжным стоном и потянулась, закинув руки за голову. Устала, вывалила все до доньшка, не оставив за душой ни крошки, ни запятой, ни единой заначки в прошлом. Даже про старого балбеса Рауля рассказала, не забыв татуировку его – коптский крест. Расписала сердобольную Луизку с ее ароматическими свечами, «девочками» и всепрощающим Буддой в уголке двора. Юрчу-ворюгу изобразила, с идиотскими его деревянными мертвецами... Ей было легко, спокойно, даже весело; от бури вываленных слов, от прерывистого дыхания, от порывистой жестикуляции слегка звенело в голове, и хотелось разом перечеркнуть несколько лет своей жизни, все напрочь забыть – и ни капельки не жалко! Вот бы такую таблетку изобрели... А теперь бы заснуть – сладко, уютно, и спать, и спать, как в детстве, на «рыдване» дяди Коли-Зверолова, чувствуя только папины руки, когда он укрывает ее сползшим на пол одеялом...

Леон вышел на кухню, вымыл яблоко, вернулся и протя-

нул Айе. И молча глядел, как с хрустом она оттяпала огромный кусок и с удовольствием жевала, по-детски тараща блестящие, не просохшие от слез глаза. Дождался, пока она догрызет все до черенка, улыбнулся и мягко проговорил:

– А теперь с самого начала...

Часа через полтора он раскопал ту давнюю встречу на вершине горы Кок-Тюбе, где Айя с Фридрихом повстречали «дядю Андрея».

– *А девочка – красotka...*

– *То-то и оно.*

– *Бедняжка...*

– *А ты полегче: мы фантастически понимаем по губам...*

– *Твоя мама была прелестной женщиной. Прелестной!*

– Понимаешь, хотя они и встретились случайно...

– Погоди, – остановил он ее. – Не торопись. Вот теперь о «случайно» и о Фридрихе.

Неистовые подземные сплетения многолетних корней... Он расплетал их с той же вкрадчивой и трепетной осторожностью, с тем же хищным азартом ищейки, с каким распутывал когда-то сложнейшие змеиные клубки террористических ячеек где-нибудь в Рамалле или Шхеме. Засыпал Айю вопросами, останавливал, возвращал к уже сказанному, поворачивал прежний вопрос неожиданной стороной, озадачивал, огорошивал, обращал внимание на противоречия.

Встречала ли она, Айя, еще когда-либо Крушевича? Может быть, в Лондоне, в доме Фридриха? Присутствовала ли когда-нибудь Елена на встречах с его «партнерами» или была всего только женой, мало осведомленной в делах мужа? Видала ли Айя что-то еще, кроме пластиковой папки из сейфа в кабинете Фридриха, и не помнит ли, кто, кроме Фридриха, подписал документ?

На тех, многолетней давности допросах он бывал неутолим и беспощаден, сейчас же с тревогой всматривался в лицо уставшей Айи, то и дело напоминая себе: довольно, надо дать ей передышку, но понимая, что на передышку у них просто нет времени.

Он осторожно, мягко подбирался к главному – к имени, что со страхом она пробормотала ночью, а за все часы этого изнурительного распутывания связей и встреч лишь упомянула вскользь раза три, – возможно, потому, что редко с ним сталкивалась? Или потому, что инстинктивно старалась отодвинуть от себя эту темную личность? Она почти не говорила о Гюнтере, а у Леона были свои соображения пока не заикливаться на этой теме. Слишком многое предстояло раскапывать, слишком важна была любая информация об этом человеке, которого, судя по всему, Айя по-настоящему боялась.

– Ой, знаешь... – Она встрепелась с озабоченным видом, села по-турецки на тахте, слегка привалилась к стене;

из-за ее плеча выглядывала лукавая рожица мальчишки-апа-ша на Барышнинном гобелене. – Погоди-ка... молчи-молчи... мысль одна крутится, насчет Крушевича... – И довольно щелкнула пальцами, ухватив воспоминание за хвост: – Однажды они сидели перед телевизором...

– Кто – они?

Отмахнулась:

– Ну, Фридрих и Елена... Бывают такие вечера, когда они не грызутся, а как шерочка с машерочкой... Я сидела у них за спинами, крутила в ноутбуке одну идейку рекламы кофейного напитка – вкалывала тогда в агентстве Баринга... Лица обоих видела в зеркале над теликом. Они смотрели новости. У них дома вообще новости крутят весь день, не выключая, – то Си-эн-эн, то Би-би-си, то немецкие, то российские программы. Какое-то безумие, как будто с них кто-то мониторинг требует. Я и не думала за ними шпионить, просто сидела, мозги ломала над чертовой рекламой... Но иногда застревала взглядом на Елене. У меня, знаешь, когда-то была мысль сделать ее портрет, *настоящий портрет*: бывают моменты, когда она вдруг теряет над собой контроль, – ну, если в бешенство впадает или чему-то сильно удивляется. У нее так порочно и жалостно отвисает нижняя губа... и тогда она просто копия одной нашей соседки: та была kleptomанка, из магазинов водку под кофтой выносила. И когда ее ловили – ну там, милиция, то-се, акт составляют, – она кричала: «Ой, сирота я, сирота-а-а! Ой же ж как меня обидеть легко-о!» – и

губа точно так отвисала... Ну, не важно. Короче, они лениво перебрасывались словами, так что *читать* их было нетрудно. И я случайно... Понимаешь, я правда не собиралась подслушивать, зачем мне... В общем, Фридрих сказал: *Андрей участвует в какой-то операции российским экспертом*. Так и сказал: «Андрей – консультант, он ведь там все знает». И еще: «МАГАТЭ?! Ну, эти болваны могут отдыхать». В общем, как я поняла, на Семипалатинском полигоне проводилась какая-то секретная операция – сбор плутония, что ли. Якобы собрали чуть не двести кило. И Елена говорит: «Ничего себе, аппетитный кусочек». А Фридрих ей: «Мда, если учесть, что на бомбу достаточно килограмм двенадцать плутония-239, он же плотнее, чем уран». И Елена: «А что, эта пропасть денег?..» – дальше что-то неинтересное, и я перестала *слушать*... Но вот про Крушевича помню. А он ведь правда специалист?.. – И с интонацией старательной ученицы: – Это хорошо, что я вспомнила?

Леон сказал:

– Ты моя умница. Ты – самая вострая, самая приметливая... самая-самая. А сейчас сделаем перерыв... угадай, на что!

Не та ли это совместная операция Казахстана, России и Америки, на которую потрачено 150 зеленых лимонов, частью по программе Нанна-Лугара, частью – напрямую из Лос-Аламоса, так называемая Программа совместного

уменьшения угрозы, проведенная тем не менее почему-то тайне от МАГАТЭ? Сейчас можно только предполагать, какую выгоду извлек наш выдающийся эксперт-атомищик из своих «консультаций» и как под шумок поживился плуто-нием, добытым и заначенным до нужного момента и переправленным по частям – но куда, куда-а-а? – чтобы поплыть напрямик в Бейрутский порт из какой-то там бухты? И в таком случае: как здесь задействован Фридрих или, скорее... Гюнтер?

Леон выжидал, когда можно будет вскользь ненавязчиво произнести имя Гюнтера – пожалуй, единственное, что его сейчас интересовало. Нет, неверно: интересовало многое. Например, зачем вообще Фридриху понадобилось вытаскивать в Лондон встреченную в Алма-Ате внучатую племянницу, девочку с такой обременительной особенностью, как врожденная глухота? Что, собственно, она, с ее умением читать по губам... Стоп! Может, дело именно в этом?

Спросил у Айи напрямую.

Она серьезно ответила:

– Нет. Нет... Он, конечно, пытался меня как-то приспособить – вначале... Ну, как это там называется: курьер, связной, да? Но когда я взбрыкнула, оставил тему, махнул на меня рукой. Бывает же так в семье – неудачный бесполезный ребенок, куда его? Но Фридрих меня не прогонял, даже когда я сбрендила и жутко колобродила – знаешь, все эти вы-

верты левой британской богемы... С удовольствием ходил со мной на соревнования по фигурному – я до сих пор люблю смотреть – и на выставки с моим участием. По фотографиям давал какие-то советы, вполне дельные – у него, между прочим, отличный вкус. И если б не Елена, которую трясет, стоит мне появиться в доме... Знаешь... – Айя помедлила, будто мысленно проверяла то, что собиралась сказать: – Думаю, Фридрих меня просто любит.

– То есть? Влюблен? – нахмурился Леон.

– Да нет, ну – любит, привязан... Такая вот странная родственная симпатия. Он ведь тоже – «сирота». Ванильный Дед... его отец, которого он никогда не видел, да и вообще, вся эта неведомая казахская тема – она его страшно интригует. Я для него такой вот сколок родни со степного полустанка, которую он никогда не имел. И потом, Фридрих не лишен сентиментальности. У него когда-то давно умерла молодая жена, остался сын-малютка. А тут я, и тоже сирота, *тоже малютка*, да еще со своей несчастной глухотой...

Она обхватила колени, насупилась, будто сосредоточенно вглядывалась в себя. Тряхнула головой:

– Нет, не знаю, не знаю! Запуталась я, к черту их всех! Но разыскал же он меня в Иерусалиме и вытянул опять в Лондон – зачем? Я для него совершенно бесполезна, и Гюнтер был против моего возвращения, знаешь, он буквально взбесился! Я *видела* их разговор из окна гостиницы. Фридрих вышел купить английские газеты в арабской лавке через до-

рогу, а Гюнтер выскочил следом, остановил его, да так грубо руку на плечо, прямо дернул! И говорит: «Что за блажь с этой девицей, *fater*, ты совсем спятил на старости лет?..» Ну и бла-бла-бла. Говорил по-немецки, а я в нем не очень, многое восстановила потом по смыслу. Фридрих спиной стоял, не видела, что он там ответил.

Вот оно и названо – имя. А теперь – осторожней... на пианиссимо: не испугни, не зажми ее, не взвинти ее страхи...

Леон выждал пару мгновений.

– А что, Гюнтер был с вами в Иерусалиме? – спросил мягко, незаинтересованно.

– Да, у него там были какие-то дела, что ли, встречи...

– И жил в той же гостинице, что и Фридрих?

– Нет. Откуда-то приехал. Может, с побережья? Был очень легко для Иерусалима одет, и почти без вещей, и на другой день исчез, а значит, я думаю...

А значит, наблюдательная моя умница, значит, приехал не из-за границы и ошивался где-то у нас под носом. Где же? В какой личине? По каким документам? И уехал в тот день, когда был убит Адиль, мой лучший «джо», мой антиквар, мой друг...

Быстро вытянув из ящика письменного стола ноутбук, Леон молча отыскал фотографию с лавкой Адиля, щелкнул мышкой, увеличивая кадр. Вот он, антиквар, с хитринкой посматривает на того, чьего лица мы не видим. С самого начала Леона беспокоило именно это: Адиль демонстриро-

вал монеты Веспасиана Фридриху, но смотрел-то вовсе не на Фридриха, а на того, кто стоит к нам спиной (такой тревожно знакомой спиной!), досадно заслоняя часть кадра. Понятно, почему Айя с ее художественным чутьем отсекала *ненужный сор*, в конечном варианте оставив только выразительные руки старика-антиквара.

– Подойди сюда, цуцик, – тихо позвал он и сам удивился: откуда у него вырвалось это «цуцик»? Откуда мгновенный спазм в горле, будто она маленькая и беззащитная и хочется обеими растопыренными руками от всего ее оградить? Значит ли это, что Иммануэлю тоже хотелось оградить тщедушного пацана – «свистульку с серебряным горлышком», как иногда он называл Леона? – Слышь, цуцик? Иди-ка сюда!

Когда подошла, привлек ее к себе на колени, обнял за талию и навел мышку на кряжистую спину, крепкую шею и плосковатый затылок неизвестного на экране.

Силуэт очертил:

– Это Гюнтер?

– Ну да, – спокойно отозвалась она. – Я потому и сняла сзади, пока он не видел. Он же чокнутый, его фотографировать нельзя. Однажды расколошматил мою линзу, самый лучший объектив! Вырвал из рук, бросил на пол и раздавил тремя ударами каблука. А когда я полезла в драку, так небрежно, неуловимо пнул меня, я два дня отлеживалась. Большая Берта орала, как паровозный гудок: «Свинья! Проклятый выродок!» – хотя обычно называет его «юнге»,

«мальчик». Кажется, в доме только один человек его не боится – старуха. Она вообще никого не боится.

Айя помолчала и неохотно добавила:

– Папа считает, что все трое – Фридрих, Гюнтер, а заодно и я – унаследовали кое-что от Ванильного Деда. Вот кто опасность нутром чуял! Он в плену сидел в немецком лагере, убирал там комендатуру, ну и воровал из мусорной корзины листы использованной копирки. Прочитывал в бараке все их приказы. Представь: иностранные слова, да шиворот-навыворот, да по ночам, в темноте, с черной копирки. Наткнулся на приказ о ликвидации лагеря и организовал побег... Папа говорит, он мог стать гениальным разведчиком, а стал настоящим зверем, бабушку Марью избивал чуть не до смерти. Но у Ванильного Деда были война, контузия, два лагеря... а вот его потомки сами себе ищут и создают «битву и бурю». Так папа говорит.

– А отец... он все знает?

– Конечно! Все-все!

– Господи, как же он живет...

И задумчиво добавил:

– Это он потому и не выдал мне твоего телефона...

Айя улыбнулась:

– Он бы под пыткой меня не выдал. Зато через минуту после твоего отъезда написал мне: «Был Желтухин Первый. Хорошо пел». И твой парижский адрес.

– А... этот Гюнтер... послушай, он... действительно так

на тебя похож?

– Что ты! – Она фыркнула. – Я даже не понимаю, зачем Фридрих это придумал, – может, на новую родню «работал», усилить родственное впечатление? Или самому почудилось что-то такое... в детских чертах. Да нет, Гюнтер похож на торговца-туркмена или на турка, хозяина шварменной. Или на пакистанца. В общем, он даже на Фридриха не похож. Видимо, на мать, та была откуда-то с Ближнего Востока. И одевается нарочито по-простому, «моя-твоя не понимай», и строит из себя такого... гастарбайтера. Если кто случайно видел его в доме, принимал за садовника. Хотя Гюнтер – очень образованный человек, закончил Тегеранский университет. У него специализация какая-то необычная, Фридрих говорил – семитские языки, что ли...

– Семитские языки?! – воскликнул Леон.

– Если я правильно помню, – неуверенно проговорила она. – Я в этом не очень... Что-то там... в Африке, да?

Да, детка. В том числе и в Африке... Такая вот экзотическая группа языков, среди которых, представь, – амхарский, тигринья, новоарамейский, мальтийский... Ну, и арабский. И, между прочим, иврит.

Леон перевел взгляд на спину и затылок Гюнтера на фотографии. Почему эта спина кажется... слишком свободной, что ли? Ненагруженной... Что, что связано с этой спиной, что перетаскивала она, эта спина, эти плечи в твоей памяти, и почему никак не получается прорвать пелену?

Однако перед Филиппом пришлось раскрыться. Не слишком откровенно и никакого напряжения – ни в голосе, ни *в наших профессиональных планах*; все на *меццо-пиано*, все светски-оживленно: так и так, моя новая знакомая из Таиланда, погостит недельку-другую. Облегченный отпускной вариант.

Для осторожного приятного ужина он выбрал хорошо знакомый ресторан в самом центре квартала Сен-Жермен.

Ресторан «Вагенэнде» был для Леона своеобразным талисманом: здесь они с Филиппом раза три проводили на редкость удачные деловые обеды и ужины с людьми, от которых так зависит «наш оперный бизнес». Здесь и кухня была отменная, но прежде всего с порога покорял интерьер: изысканный модерн, никакой проклятой современности.

Благодаря зеркалам, опоясывающим стены и оплетенным лианами красного дерева в стиле *nouille*¹, просторный зал пребывал как бы в плавном кружении. Все арабески, овалы, вензеля, витражи и фарфор, благородные бронзовые люстры и овальный потолочный плафон работы Пивена (неброские, но удивительно чистые тона) – все сливалось в праздничный

¹ «Лапша» (фр.). – Здесь и далее прим. автора.

аккорд.

В начале прошлого века тут крутились в запарке официанты сети ресторанов быстрой кухни «Бульоны»; потом дело было перепродано и попало в руки семьи Вагенэнде, которая на протяжении чуть ли не всего двадцатого века самоотверженно оберегала изысканный интерьер от веяний эпохи. В шестидесятых чуть не разразилась катастрофа: некие деловые люди пытались выкупить ресторан под супермаркет. Тогда на защиту основ поднялась парижская элита, всё благородные едоки: генерал де Голль, Андре Мальро... надо ж было где-то по-человечески ужинать! Короче, ресторан отстояли.

Публика бывала здесь разношерстная, не чопорная, и атмосфера оставалась уютно домашней. А официанты – что редкость в Париже в наши дни – приятно удивляли учтивостью и расторопностью.

Меню *мероприятия* соответствовало стилю задуманной Леоном ознакомительной встречи: ничего торжественного, не помолвка же это; очередная пассия, милая тайландская гостья... Никаких фейерверков, но плотный ужин по полной программе, то есть, как говорила Стеша, «триста целковиков (местных целковиков, разумеется) отдай не грехи».

Филипп появился, когда Айя с Леоном уже сидели за столом, рассматривая карту вин. Филипп был великолепен, благоухал дорогими духами, и хотя заявил, что еле приполз по-

сле трудного дня, его аккуратно зачесанные височки и ухоженная эспаньолка с неизменным белоснежным клинышком по центру, точно этот кот ел сейчас сметану и с ложки натекло на бороду, наводили на мысль, что по пути в ресторан Филипп все-таки навел своего парикмахера.

Высокие стороны общались на английском. И первым (спасительным) этапом встречи стала оживленная инспекция книжки меню. (Филипп: «Ни одной книги не читал с большим увлечением! Я голоден как волк, так что приготовь толстый кошелек, мой милый...») Наконец выбрали: на закуску – утиный печеночный паштет, к нему по бокалу белого полусладкого «Монбазияк».

Для Айи Леон заказал *quenelles de brochet*, кнедлики из щуки, зато себе и Филиппу, зная мясные предпочтения своего друга, взял коронное местное блюдо: *tete de veau*, телячью голову, под которую хорошо идет красное «Жеврэ-Шамбертэн» – подхалимаж, легкий кивок в сторону любимой Филиппом Бургундии.

Вообще, Леон был осторожен, как никогда, предупредителен «на обе стороны», галантен, в шутках на редкость беззуб, боялся сказать лишнее слово, так и сверкая своими антрацитовыми глазами то на того, то на другую, подхватывая нить разговора, торопливо смягчая ершистые реплики Айи, старательно подбрасывая натужные нейтральные темы вроде разговоров об искусстве фотографии и красотах Таиланда. Искренне полагал, что свою партию в спектакле «очередная

любовная гастроль» исполняет легко и естественно.

Дождавшись, когда Айя уйдет в дамскую комнату, Филипп сказал:

– Обидно, что ты считаешь меня полным кретином, старина.

И в округленные недоумением глаза Леона:

– Глухая... Ни капли интереса ни к твоему гениальному голосу, ни к музыке, ни к опере. Ни единого пересечения с твоей жизнью. Ничего не скажешь, идеальная пара для оперного певца.

– Филипп!

– Подожди, я не закончил.

Филипп достал трубку и неторопливо, в угнетенном молчании Леона стал ее набивать, затем раскуривать.

– Мордашка у нее симпатичная, и сложена хорошо, но худа, как ободранная кошка. И почему она все время оглядывается, как кошка на крыше: за ней кто-то гонится?

– Филипп!!!

В ярости Леон бледнел, наливаясь внутренним жжением.

– Вот-вот, еще одно мое слово, и ты дашь мне в морду, правда? – добродушно и задумчиво продолжал тот. – И после этого ты что-то лепечешь об «отпускном варианте», «легкой пассивности» и «недельке-другой»? Посмотрел бы на себя: ты же вылизываешь ее каждым взглядом, как корова – новорожденного теленка! Ты истекаешь вожделением, несчастный недоносок... Нет, Леон, увы, мой диагноз суров: тяже-

лая злокачественная любовь и, видимо, с летальным исходом – имею в виду идиотский брак по идиотской страсти. Я не прав?

Леон молчал, комкая салфетку.

А как вчера он выбирал ей одежду для этого ужина! Как выразительно обтекает ее фигурку чудесное шелковое платье цвета вишневой пенки, с тонким бордовым ремешком на талии, со свободным двойным хомутом круглого воротника, из которого вырастает гибкая шея лани. А ее певучие брови – чуткие, дерзкие, шелковые... А удивительные отзывчивые глаза, которые под бронзовыми люстрами немедленно приобрели цвет золотистого ликера и так и мерцают вишневыми искорками... А как ее ножкам идут высокие каблуки новых ботильонов (в Одессе такие звались «катеринками»)!

Филипп протянул свою успокоительно мягкую руку и накрыл ею бешеный кулак Леона:

– Не терзай салфетку. Просто я вижу, что с тобой стало за эти недели, и каким ты вернулся оттуда, из этого проклятого Таиланда, и что успел наворотить. На данный момент я счастлив, что она приехала, и значит, контракт с Лондоном останется в силе. Я ей готов руки за это целовать! Но ты же выжат ею досуха, болван ты этакий, – чем ты петь станешь? Так что прошу лишь об одном...

Тут вернулась Айя, и одновременно – как и полагается, до десерта – приплыла в руках официанта большая тарелка с разными сортами сыра. Все сосредоточились на выборе:

недурное средство для остужения «бешеного мавра», как частенько называл Леона Филипп. Дама выбрала не слишком пахучий «Фурм-д'Амбер»; мужчины остановились на более крепком «Мюнстере».

Несколько минут заняло спасительное обсуждение десерта: выпечка, торты и прочий сладостный разврат, пояснил Филипп, – сильная сторона здешнего меню.

– Если вы еще не пробовали «Плавучий остров», дорогая, непременно возьмите! – горячо советовал он Айе. – Это что-то невероятное: круто взбитые белки, плавающие в сладком английском соусе.

– Не бери ни в коем случае, – грозно предупредил Леон. – Сам он терпеть эту бурду не может.

В конце концов все единодушно сошлись на профитролях под горячим шоколадом.

И можно бы считать, что (с некоторыми осложнениями) первое знакомство закругляется изысканным шоколадным пируэтом, но тут Филипп решил обсудить предстоящий концерт в Кембридже и деловые встречи в Лондоне (взрывоопасная тема, которую Леон отодвигал на самый последний момент).

– Ты, конечно, возьмешь свою гостью в Англию? – приятно улыбаясь, спросил Филипп с едва заметным ядовитым *форшлагом* в конце вопроса (*о, воображаю, это будет самый утонченный ценитель в зале*).

Айя изменилась в лице: даже не кошка на крыше – пантера над обрывом.

– Чего я там забыла? – мрачно бросила она, дернув плечом.

Филипп опешил. Кажется, он считал эту девушку обительницей островных джунглей, а поездку в Лондон – таким манящим призом для очаровательной обезьянки.

– Как?! – воскликнул он. – Лондон! Британский музей, музей Виктории-Альберта, жемчужина...

– Заткнись! – процедил Леон по-французски, в ярости уставившись на Филиппа. – Ради бога, заткнись! Она провела в твоей жемчужине не лучшую часть жизни.

– Ты же не предупредил... я же хотел... – Филипп бормотал растерянно и раздраженно. – Так объяви темы, на которые я могу с ней говорить, – сколько их: две? три?

– Я не понимаю французского! – выпалила Айя по-русски, вскинув подбородок.

Леон сказал, глядя в ее глаза цвета золотистого ликера:

– Я люблю тебя. Знаешь, что я сделаю, когда мы вернемся домой? Сначала я расстегну твое...

– Но я же не понимаю по-русски! – сокрушенно воскликнул Филипп и развел руками.

– Идите вы к черту оба, – вздохнул Леон. – Устал от вас.

И все трое вдруг расхохотались...

– И отпустите меня отлить, ради бога, – взмолился Леон, – нет сил терпеть, карауля вас, драчливых баранов!

Вернувшись из туалета, он застал чуть ли не идилию: Филипп рассказывал коронные «брючные байки» своего отца, известного дирижера Этьена Гишара. В молодости тот был недурным скрипачом и до войны активно гастролировал. Более всего в этих старых байках Леона изумляла их схожесть с гастрольными историями музыкантов какой-нибудь Адыгейской филармонии – в свое время ими во множестве сыпал «Верный Гриша», а позже Леон и сам любил порадовать компанию анекдотами из собственной концертно-студенческой биографии.

– И вот он приезжает в Ментон – а год, скажем, тридцать пятый, тридцать шестой, – селится в самом изысканном местном отеле на шестнадцать комнат, идет на репетицию, затем обедает, отдыхает. А перед выступлением открывает наконец чемодан, который ему всегда складывала мама, – чтобы переодеться в концертный костюм. И с леденящим сердце ужасом обнаруживает, что мама забыла положить концертные брюки! Кошмар! Тогда все было строго: музыканты выступали только во фраках. Брюки черные, с лампасами: атласной такой продольной полосой по шву. Что делать? Выход один – бежать вниз, в ресторан, одалживать брюки у какого-нибудь официанта: по странной моде того времени, официанты носили точно такие же брюки с лампасами...

Леон, вероятно, в пятидесятый раз слушал эту историю – и с неизменным интересом. Филипп был незаурядным рас-

сказчиком: ни одного лишнего жеста, ни одного лишнего слова, и притом – полнейшее ощущение чуть ли не экспромта:

– Итак, папа рысью бежит в ресторан и обнаруживает, что именно в этом заведении официанты одеты не так, как всюду, к тому же странно гордятся своей формой – брюки и жилетка в тонкую белую полоску! Ну, делать нечего, времени нет, воскресный день, все магазины закрыты. Папа натягивает штаны какого-нибудь Шарля или Мишеля, опрোметью мчится в концертный зал, где играет сложнейшую программу в брючках пошлого альфонса. Все прошло блестяще, публика доброжелательна – аплодисменты, корзина цветов... Наутро папа завтракает в том же ресторане и читает отзыв на свой концерт в местной газете. Рецензент разливается соловьем: звук, интерпретация, техника, музыкальность, ансамбль с оркестром! А в самом конце: «Кроме того, молодой солист привез нам из Парижа новую столичную моду: элегантные брюки, и не черные, а в деликатную полоску!»

Ну что ж, все идет прекрасно, можно успокоиться. И передохнуть, так как за этой байкой идет другая, но с теми же забытыми брюками – у Филипповой мамы, судя по всему, был явный комплекс вытеснения, связанный с нижней частью тела своего супруга. В этой второй истории блестящий Этьен Гишар выступал в Лионе с каким-то вокалистом, и тоже, как на грех, в воскресенье, так что на сей раз пришлось

им выходить на публику попеременно: певец дотягивал последнюю ноту, вбегал за кулисы и сдирал с себя штаны. А Этьен уже стоял наготове: в подштанниках и со скрипкой, молниеносно эти штаны натягивал и выскакивал на сцену. И все бы ничего, но певец был выше ростом, и брюки его на Этьене собирались гармошкой. Кроме того, им не удалось вместе выйти на поклон, хотя публика хлопала очень долго.

– ...Я и сам терпеть не могу Лондон, – говорил Айе коварный Филипп, попыхивая трубкой, протягивая через стол свою мягкую руку потомственного дирижера и как бы уминая, вылепливая толстыми пальцами тонкие пальцы Айи. – Разве он сравнится с Парижем... Антикварная лавочка, индийская лавочка, величественный табачный ларек, грандиозная телефонная будка... А их национальная кухня – о, пощадите мой желудок! А-а-а-а!!! – (Это Айя перехватила и сжала его руку.) – Ох, дорогая, у вас совсем не женская, такая сильная рука!

– И шея сильная, – добавила она. – Знаете, сколько весит фотоаппарат с большой линзой?

– А сколько веситдохлый удав! – подхватил Леон.

* * *

Дома им все же пришлось объясниться:

– Понимаешь, радость моя...

– Только не называй меня своей радостью, как эту кон-

сьержку, а то я решу, что ты – Филипп.

– Хорошо: моя мегера, мой идол, моя худющая страсть – так лучше?

– Я не худая, я в теле...

– О-о-о, да! Сейчас начну вытапливать этот жир!

– Пусти, перестань меня хватать, говори, что хотел...

– Сначала кофе сварю, ты не против?

– Мне не кофе, а чай...

– Да ты просто *нох айн казахе!*

– Ага, и с молоком...

Они просидели на кухне до глубокой ночи. Он доказывал, убеждал, уговаривал, рисовал дивные картины, высмеивал ее страхи, описывал дом главного редактора какого-то музыкального издательства, с которым должен был в Лондоне встретиться: якобы там в кухне, над старинной печью всегда сушатся серые залатанные кальсоны... Она сначала смеялась, потом плакала, опять смеялась его шуткам. Наконец на выдохе смеха согласилась «поехать в этот чертов Лондон». Он поздравлял себя с выигранной битвой, вспотел от напряжения, как дровосек, – хоть рубашку выжимай.

Затем, уже обсудив все детали поездки, они минут пять умиротворенно целовались над пустыми чашками...

...после чего она объявила, что все-таки нет, никуда с ним не поедет:

– А вдруг я столкнусь там с Фридрихом? Елена таскается с ним на всякую музыкальную... – И вовремя запнулась – зна-

чит, собиралась нечто *сказануть*: *музыкальную чушь?* *музыкальную хрень?* Да уж, сейчас ей, бедняге, придется придержать язык на кое-какие темы.

Леону следовало бы просто утащить ее в постель – *ночной кенарь дневного перепоеет*. Но он устал, разозлился и, как это прежде бывало на допросах, от упорного сопротивления *объекта* повел себя еще мягче: надо захомутать эту кобылку; хватит, натанцевались.

– Ты не только столкнешься с ним, – скупно улыбаясь, *совсем иначе улыбаясь*, проговорил он. – Ты напишешь ему и попросишься в гости.

Она молча уставилась на эту улыбку. Так он смотрел на нее *там, на острове*, перед тем как заманить в лес. Испуганным шепотом спросила:

– Зачем?

У Леона в заначке имелось по крайней мере три убедительных ответа и три разных улыбки на подкладку, но, беззвучно рисуя губами слова, будто их кто-то мог подслушать, он сказал:

– Не знаю... – что было, во-первых, чистейшей правдой, а во-вторых, единственно верным в эту минуту ощущением и единственно родственным – ее внезапным птичьим перелетам.

Ему не нужен был Фридрих. С Фридрихом, и очень скоро, разберутся другие. Гюнтер – вот за кем он охотился:

неуловимый Гюнтер, племянник генерала Бахрама Махдави, вероятный секретный координатор по связям КСИРа с «Хизбаллой». В доме Фридриха возможен шанс выудить какие-то сведения о маленькой неприметной бухте, о частной почтенной яхте, чьей конечной целью будет Бейрутский порт... Именно в доме Фридриха могла их ожидать вольная. В сущности, в Лондон Леон ехал за выкупом. Он задумал этот обмен с конторой еще в тот день, когда Айя, сидя на его колене, подтвердила присутствие Гюнтера в Иерусалиме в день убийства старика-антиквара. Что ж, если на то пошло, мы не чураемся торга: я вам сына, Гюнтера, или как там его еще зовут, а вы мне – покой и волю. То есть Айю. Конечно же, Айю.

– Воображаю, – она усмешливо тряхнула головой, – как мы сваливаемся туда прямо на день рождения Фридриха.

– А когда это? – встрепнулся Леон.

– На другой день после твоего концерта в Кембридже.

Леон вскочил и заметался по кухоньке, вылетел в коридор, встал в дверях спальни, уставился на Барышнин гобелен, словно пересчитывал, все ли пирожные в наличии или их уже слопал негодник-апаш. Нет, не все, не все пирожные он слопал, в радостном возбуждении буркнул Леон, кое-что оставил тебе на закуску.

Вернулся в кухню и вновь уселся за столик – странно спокойный, чем-то донельзя довольный.

– Там собирается большая компания?

– Да нет, в основном его пожилые дружбаны, из этих: «мой адвокат», «мой врач»... И еще какой-нибудь заезжий хмырь из *ВИПов*, в модных туфлях с шипами, вокруг которого выплясывает Елена. Человек семь, десять. Во всяком случае, Большая Берта все эти годы справлялась сама, никого не нанимали. Она неплохо стряпает и терпеть не может готовую еду, которую, знаешь, теперь принято покупать, «чтобы в доме не воняло». А когда Елена пытается что-то вякать, кричит: «Еда не сразу становится говном!» К тому же Гюнтер, если он в Лондоне... Вот кто готовит – пальчики оближешь!

– А Гюнтер *всегда* приезжает на день рождения Фридриха?

– Не обязательно... Но когда может – приезжает. Эта дата – она и день смерти его матери, такое вот совпадение. Ну, и в этот день он старается быть с отцом. Хотя за столом с гостями никогда не сидит. Я же говорю – его в доме не чувствуешь, он как призрак. Леон! – Айя поежилась, умоляюще проговорила: – Не стоит туда соваться. Я боюсь их, Леон!

– Чепуха, бродяжка моя, – нежно отозвался он, хотя в губах его и промелькнуло неуволимо опасное выражение. – Чего тебе бояться? Я буду рядом.

– Нет, погоди. Я просто не понимаю, зачем тебе этот глупый риск! – И недоуменно усмехнулась, покачав головой: – Ну, в роли кого я тебя притащу – даже если решусь сунуть туда нос? Знакомьтесь, это мой... кто ты мне – бойфренд?

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга – несколько протяжных мгновений, которые все длились, аукаясь в их глазах, властные и одновременно робкие ощущения, как прикосновения.

– Жених, – коротко и тихо сказал он. – Годится?

Она помедлила... Спросила безразличным тоном:

– Это такая... концертная версия?

Тогда, отсчитав три гулких удара в висках, чувствуя, как что-то мягко всхлипнуло и покатилося в невозвратную глубину груди, он спокойно ответил:

– Это предложение руки и сердца, если ты не против.

Она не шелохнулась. Сидела, по-прежнему всматриваясь в его губы, недоверчиво улыбаясь, будто он случайно оговорился, просто *не мог произнести такого*, и оба это понимают. Только брови ее ласточкины дрожали, не снижая изумленной высоты.

Наконец она вздохнула, поднесла обе ладони к лицу, точно собираясь напиться, вдруг нырнула в них лицом и заплакала.

И беззвучно, неиссякаемо плакала все время, пока Леон скупно объяснял, ребром ладони размечая на столике этапы опасного разговора: именно так – дорогой Фридрих, никогда не стала бы надоедать тебе случайным знакомством. Но это для меня – слишком серьезный шаг, а ты, несмотря на все наши разногласия, у меня тут единственный родственник. И не то что благословения жду, просто считаю необходимым

представить тебе... и так далее.

...беззащитно улыбалась, кивала и плакала.

Слезы у нее всегда были наготове, так близко, так благодатно близко; к ее резкому и сильному характеру никакого отношения не имели. И хорошо, что Леон это сразу понял: просто природа заботилась, чтобы в отсутствие слуха самый важный инструмент ее существа – ее глаза, ее пристальный лучистый взгляд – постоянно омывался сокровенной природной влагой.

3

Он и сам не знал, почему решил превратить эту, в сущности, недолгую поездку в путешествие, для чего придумал изрядную часть пути проделать на машине, через соборный сумрачный Амьен, через гобеленовый переливчатый Аррас и простеганный каналами Брюгге... Переночевать в Брюсселе, в каком-нибудь неприметном пансионе, а утром сесть на «Евростар» – до Лондона.

Не самый удобный, не самый быстрый способ попасть из Парижа в Лондон, но Леону хотелось «проветрить девочку». Хотелось расслабить ее, хоть немного снять то чудовищное напряжение, в котором она жила последние месяцы, да и последние недели их новой, обоюдоострой, взрывчатой, неистовой жизни вдвоем.

Одинокый кенарь, он посматривал на себя как бы со стороны. Утром изумлялся, если, проснувшись, слышал, как в ванной льется вода. Сквозь сон себя спрашивал: это Владка приехала? И ярким всплеском – нет, не Владка, но некто вроде... Улыбнувшись, потягивался, перекатывался, блаженно распластывался на постели, руки разбрасывал, проводил ладонью по ее еще теплой подушке... Время от времени прислушивался к себе: когда уже он начнет раздражаться? Когда захочется на часок закрыть за ней дверь, с воздушным поцелуем вослед? (Любимая присказка холостяка Филиппа: «Старина, знаешь, что такое вечность? Это промежуток времени между минутой, когда ты кончил, и минутой, когда за ней захлопнулась дверь...»)

А вот и нет, старина. А вот и нет. И странно, и так ново: возможно, именно звуковой вакуум, этот кокон полнейшей тишины, в котором она существует, дарит ему, Леону, удивительную свободу выплеска. Он ловил себя на том, что дома стал громко хохотать, а в минуты их бенгальских искристых ссор с наслаждением кричал, чувствуя потом легкость в груди, словно таял, испарялся окаменелый кусок льда, наращенный всей жизнью. Выорался (Одесса-мама, насмешливо говорила Айя) – но будто вены отворил. Грозовые разряды, погромыхивающие где-то там, высоко над головой, и все – мимо, мимо... Здесь только свежесть, и разреженный воздух, и музыка, никому не досаждающие

его колоратуры, волнами взмывающие к потолку... Так что, может, ты и прав, дорогой мой Филипп: «идеальная пара для оперного певца»?

Когда все пройдет, думал, надо сразу купить ей фотоаппарат – видел, как она мается, как вдруг сощуривается, откидывая голову, как замирает на миг и раздраженно прищелкивает пальцами: кадр упущен. И бросается к компьютеру, сосредоточенно перебирает что-то там, «обстригает» кадры, выстраивает, дорабатывает уже готовое. И сидит, уставясь в экран, нетерпеливо подтанцовывая коленкой, будто застоялась в стойле и сдерживается изо всех сил, чтоб не разнести стены конюшни.

Да, пора ей камеру купить...

Леон плохо представлял себе, во что выльется его и впрямь дикий план посещения «Казаха». Просто чуял, что если и существует для них обоих возможность вылететь на свободу, то кроется эта возможность в опасном доме Фридриха Бонке.

Вот ты опять со своей идиотской интуицией, говорил в свое время шеф. А ее просто не существует. Разведка – дело скучное: анализ ситуации и фактов, помноженный на кровавый опыт других.

Что и говорить, чистая это правда, но... как передашь покалывание в кончиках пальцев, предвосхищение смены то-

нальности, неизбежное нарастание музыкальной темы в ушах и во лбу, над бровями? Как растолкуешь осязаемое приближение кульминации? Как опишешь головокружительный восторг в ожидании всегда неожиданного финала?

*** * ***

Своего автомобиля Леон не держал: никчемушный след – куда ехал, где стоял, где заправлялся... На одолженных-то колесах приватность куда как больше.

Он понимал, что толковей всего добираться на поезде напрямик из Парижа в Лондон: в толпе пассажиров и затеряться легче, и, как ни странно, легче заметить и отследить «хвост». Но толпы он не любил, если только это не публика в зале, и по старой снайперской привычке предпочитал, чтобы вокруг расстилалось некоторое хорошо просматриваемое пространство. А если хотелось передвигаться, не слишком привлекая к себе внимание, никогда не снимал машину в фирме по прокату. Просто шел в гараж на соседней улице, к Жан-Полю, двадцатипятилетнему гению механики и автомобильного дела, совал пару сотен в его мозолистую лапу и брал на нужное время любой из трех его автомобилей. Те были всегда на ходу и всегда в приличном состоянии. А самым прекрасным было то, что влюбленный в цвет и линию неудавшийся живописец Жан-Поль – эстет чокнутый – едва ли не каждый месяц перекрашивал своих коней просто так,

для настроения. И вот это Леону нравилось больше всего.

– Хочешь «Пежо»? – спросил Жан-Поль, умудряясь ковырять в носу пальцем, перепачканным в машинном масле. – Я его недавно *пережелтил*. Он сейчас как солнышко на дороге.

– Ммм... Не люблю дорожную полицию.

– Тогда «Рено-Клио» бери, он все еще темно-синий.

– Отлично, морские цвета успокаивают.

Складывались долго и канительно – будто на месяц уезжали. Выяснилось, что у них кардинально разный подход к дорожной экипировке: Айя предпочитает свободные руки и минимум веса («Я так привыкла; с меня довольно аппаратуры»), Леон, напротив, для «неожиданной погоды» и «разных поворотов сюжета» любит запастись лишним пуловером, лишней рубашкой и лишними туфлями. А фрак, черт его дери! А смокинг?! Черный – это само собой, а хорошо еще один, *на всякий случай*...

По этому поводу стены бывшей конюшни вновь сотрясали вопли, губительные для голосовых связок певца, но такие сладостные, поддержанные такими трелями вездесущего Желтухина...

– Нет, подожди, – оторопело спрашивал Леон над раскрытым чемоданом, с концертными туфлями в руках, – ты собираешься ехать с одной парой джинсов?!

– Но у меня же одна задница, – спокойно возражала она.

– Женщина! Может, ты и трусы берешь в одном экземпляре?!

– Я могу ехать вообще без трусов – ты будешь только доволен...

– А платье! Твое новое обалденное платье!!!

– Прекрати руководить моим гардеробом, Одесса-мама...

Когда чемодан уже стоял в прихожей, дом был прибран, холодильник опустошен и мусор вынесен, пригласили Исадору для подробных консультаций на предмет кормежки и выгуливания Желтухина Пятого. Португалка уже дружила с желтым наглецом и кавалером – тот строил ей куры и закатывал серенады. Не волнуйтесь, месье Леон, я все поняла: тут вот корм, водичку меняем каждое утро, и выпускать полетать, но форточку перед тем, конечно, закрыть.

Она вздохнула:

– Я бы с удовольствием забрала вашего красавца себе, но у внука такая аллергия на птичий корм...

– Да-да, аллергия, – отрешенно произнес Леон в наступившей паузе, застывая, каменея и даже вроде как покрываясь инеем. – Как я мог забыть... Аллергия, да... Это замечательно!

Ринулся на балкон – разыскивать в кладовке дорожную медную клетку. Крикнул оттуда:

– Исадора! Радость моя! Простите! Все отменяется! Мы

забираем кенаря с собой!

Явился с клеткой и принялся отсыпать корм в пакетики, собирать походный птичий багаж. Открыл ажурную дверцу и протянул Желтухину палец, который тот немедленно обхватил своими восковыми трехпальными чешуйчатыми лапками.

– Поехали-поехали-поехали с оре-е-ехами... – выпевал Леон полупшепотом. – Канарейка за копейку... чтобы пела и не ела... Карета по-о-одана, маэстро, карета по-одана...

Кенарь вспыхнул крошечным солнцем в утреннем луче меж гардин, перебрался на новую жердочку и принялся деловито инспектировать свой портшез.

Айя наблюдала эти внезапные сборы в замешательстве.

– Ты с ума сошел? – осведомилась она нерешительно.

– А что! – Леон почему-то был в восторге от внезапной своей дикой идеи. – Берут же хозяева в поездки кошек и собак. Я, может, жить не могу без любимого кенаря...

– Месье Леон – большой оригинал, – пояснила Исадора обескураженной Айе. И улыбнулась: – Настоящий артист!

Пока загружались у Жан-Поля, поругались, помирились, долго бережно пристраивали на заднем сиденье клетку с Желтухиным Пятым, чтобы кенаря не укачало. Наконец покинули гараж, проехали переулок и встали на светофоре. И тогда Леон шумно и освобожденно выдохнул, засмеялся, потянулся к Айе и обеими ладонями взял ее лицо. Поцеловал с таким проникновенным, таким кротким чувством, словно через минуту им предстояло расстаться на год.

– Мы будем ехать долго-долго, моя любовь, – сказал, – через Амьен, Аррас, Брюгге... В Брюсселе непременно выпьем пива в одном славном подвальчике.

– В Брюсселе? Пиво? – недоуменно уточнила она, смешно ворочая головой в его ладонях, как ребенок в завязанной шапке-ушанке, все еще не понимая его возбуждения, его праздничного волнения, только чувствуя, что эта их дорога – начало чего-то важного, возможно, очень опасного, но почему-то необходимого Леону.

И ничего на сей раз не спросила, что само по себе было невероятно.

Тут выпал зеленый, и они выехали из переуллка на рю де Риволи.

* * *

В Амьене погода еще крепилась, не давая воли слезам, хотя пейзажи равнинной Пикардии никого бы не развлекли и не порадовали: унылый горизонт, как по школьной линейке, туманы на голых полях, безликие коробки промышленных блоков. И над всем – пелена утреннего неба, сквозь которую изредка процеживался парафиновый луч. Только бы не дождь, заклинала Айя, в дождь так скучно ехать...

Но в Амьене дождь их еще не настиг. Загнав машину на муниципальную парковку, они под пасмурным небом пошатались немного по центру, прошлись по берегу сонной и ти-

хой Соммы, отыскиали кафе как раз напротив собора Нотр-Дам и уселись за столик на улице.

– Он странный, да? – Айя кивнула на собор. Она сидела, вытянув и скрестив ноги в джинсах, все еще похожая на мальчика, хотя мягкий ежик ее волос уже стал завиваться на висках и затылке. – Какой-то неуравновешенный.

– Он самый большой во Франции, знаешь? – отозвался Леон. – Акустика изумительная, я пел здесь раза три. И внутри такой светлый текучий воздух – от витражей. Хочешь, зайдем?

Айя хмыкнула:

– Думаешь, я его не снимала, этого монстра? Я месяца три работала на один модный журнал, торчала здесь на фотосессии с этими идиотками... – И, перехватив его взгляд: – Ну, с этими, моделями. Кстати, их менеджер предложил мне *попробоваться*, уговорил напаялить какие-то их супермодные тряпки, поставил меня на дикие платформы, каких я сроду не носила, – клоун на ходулях! – и пустил пройти по площади... Ахал и закатывал глаза. В общем, я послала его к черту. Снимали здесь и в Генте, на фоне тамошнего собора. Но этот мне нравится больше. Он такой огромный, неловкий, какой-то... стеснительный: одно плечо выше, другое – ниже...

– И эта готическая роза в груди, как крупный цветок в петлице...

– Слишком тщательно сработана, – заметила Айя. – Ка-

менный ажур этих соборных роз...

...А какую изысканную розу вырезал из красной луковицы «ужасный нубиец» Винай... Куда он все-таки делся? Какому бизнесмену готовит сейчас свой тайский салат из холодной говядины? Господи, на что тебе сдался Винай, если уж даже в конторе равнодушны к его судьбе? И к чему твой беспокойный слух все танцует и кружит, все обшаривает тревожными щупальцами закоулки твоей же памяти?

Официант принес кофе.

– Амьен здорово порушили во время войны, – сказал Леон, отвлекая себя от навязчивых мыслей. – Потом его лет двадцать восстанавливали – ратушу, собор, Амьенскую башню, практически весь район Сен-Льё... Реставрация – всегда чуть-чуть помесь Диснейленда с кладбищенским памятником.

– А еще не люблю эти парадные шеренги святых над порталами. Выстроились, лица постные, у каждого – послужной список чудес. Знаешь, вот в Страсбурге... – Она оживилась, подалась к Леону, и руки мгновенно взлетели к лицу, готовые ассистировать. – Там статуи собора, те, что уцелели, перенесли в «крытый мост», и представь: ангелы и химеры за грязными решетками КПЗ... Сразу меняется все! Вот что значит деталь как рычаг события. Заключение ангелы... Я сделала целый рассказ. Потом покажу тебе пару снимков.

Там есть один юный ангел – папа говорит, на меня похож. Умора, кому сказать...

Он смотрел на ее лицо, все собранное из плавных и чуть раскосых овалов, и думал, что Илья Константинович прав: она и есть – заключенный ангел, всегда замышляющий побег. Ангел, запертый в пожизненную одиночную камеру глухоты. Его, Леона, собственный заключенный ангел со связанными крыльями...

Тут первая капля дождя упала ей прямехонько на нос, другая на скулу, скатилась к подбородку крупной слезой. Айя поежилась и засмеялась, отирая кулаком щеку, погрозила грязноватому неряшливому небу.

– Ну, началось... – вздохнул Леон. – Пойдем к машине?

– Постой, у меня тут кофе еще на семь глотков.

Сняла со спинки стула его джинсовую куртку и накинула на голову. Так и сидела, торопливо допивая свой кофе.

И тут Леона прошибло. Вдруг он понял, кого так мучительно она все это время напоминала. И почему при взгляде на нее то и дело возникают: слепящий свет, голубое покрывало, длинные послеполуденные тени от высоких монастырских стен и тишина каменных прохладных залов... Конечно, вот оно: Палермо, Музей изобразительного искусства, картина Антонелло да Мессина – «Мария Аннунциата»...

Он приходил туда дважды и оба раза – ради Марии. Подолгу стоял, нащупывая интонацию, меру, тембр... В те

месяцы работал над несколькими барочными ариями, посвященными образу Девы. Много не чувствовал, во многом сомневался... Странно – почему вдруг решил продираться к своим открытиям через иное искусство, через живопись?

Николь сначала иронизировала, потом слегка сердилась – по-своему, конечно, мягко улыбаясь: «А если я стану ревновать?..» Да-да: голубое покрывало, широковатый нос, высокое чело с благородными бровями – мальчиковое лицо из плавных раскосых овалов, и все вместе подчинено единому замыслу. Глаза с припухшими верхними веками ускользают, не смея на тебя взглянуть; щепоть левой руки придерживает на груди покрывало, а правая слегка приподнята: то ли Мария потянулась остановить того Невидимого, кто ее покидает, то ли ощупывает воздух перед собой, еще не веря в произошедшее... И странное ощущение, что эта девушка никого не слышит... Вернее, слышит только жизнь внутри себя.

«Леон, ну что ты прилип к этой картине! Ты меня поражаешь... Странные пристрастия...»

Та волшебная поездка на Сицилию – семейная вилла на вершине горы, многослойная синева моря, поутру блестящего серебром, – несколько безмятежных дней, когда он был близок к тому, чтобы произнести те самые слова, которых Николь ждала три года и не дождалась. Те слова, что открыли бы ему ослепительные своды высших сфер: возможность дорогостоящих рекламных турне, грандиозных

«промоушинз» и прочих современных трюков для мгновенного вознесения певца на вершину международного музыкального олимпа.

Короче, те самые слова, что так просто, почти без выражения, он сказал на своей кухне вот этой глухой девушке с его джинсовой курткой на голове; этой девушке с широко-ватым носом, сосредоточенным взглядом из-под припухших век и ласточкиными бровями, на которые он готов смотреть не отрываясь всю оставшуюся жизнь.

– Вот теперь идем, – бросила она, снимая с головы куртку и перекинув ее через плечо Леона.

В Аррасе дождь уже покропил мостовые, оставил крупные оспины на лобовом стекле машины, так что ужинали поближе к стоянке, в каком-то неинтересном ресторане – просто чтобы отсидеться и передохнуть. Вообще каждые километ-ров пятьдесят Айя предлагала где-то «посидеть», придумы-вала разные нелепые предлоги, как ребенок, оттягивающий возвращение с прогулки домой. Волновалась – не устал ли он? Неужели ее настолько пугало приближение Лондона?

На въезде в Брюссель они угодили в кошмарную пробку. Доползли до Гранд-плас и долго тыркались по окрестным пе-реулкам в надежде урвать местечко для машины. Наконец повезло: на одной из парковок виртуозно втиснулись меж-ду двумя микроавтобусами и под ровным, жестким, но все

еще терпимым дождем нырнули в подвальныйчик, в обещанную Леоном пивную, название которой «Cercueil» переводилось просто и грубо: «Гроб». У них и в витрине наглядно располагался скелет – в роскошном гробу со снятой крышкой, непринужденно свесив кости бывших рук по краям своей узкой обители.

Внутри псевдотаинственной крипты в мерцании свечных огоньков накачивалась пивом веселая публика. Скамьями служили, разумеется, гробы. Музыка крутили, разумеется, «Реквием» Моцарта.

– Забавное местечко, – заметила Айя, – хотя и выпендренное.

– Но пиво первоклассное, – возразил Леон.

Он уже не боялся музыки «Реквиема», как это было в детстве. Но с первых тактов «Introitus» по-прежнему мороз продирает его по хребту, и распаивалась мертвенная равнина мессы, а сердце сжималось в невыразимой тоске чьего-то вечного плена. Какого черта я приволок ее именно сюда, подумал Леон, как обычно на какие-то мгновения забыв, что Айя совершенно все равно, что там лепечут, шепчут или изрыгают динамики.

Они заказали по кружке пива, как-то невзначай разговорились с соседом по столику, бельгийцем, автомехаником.

– Я в молодости подрабатывал в этой пивной, – сказал он и кивнул куда-то в угол: – В гробу лежал вон там, изображал покойника...

– Врет, – по-русски заметила Айя.

– Да нет, просто тяжеловесный бельгийский юмор. У французов есть куча анекдотов про бельгийцев, как у русских про чукчей.

Бельгиец, словно угадав, о чем идет речь, вставил:

– Зато у нас авторуты ночью освещены, не то что у французов: влетаешь в чертову задницу и думаешь – да что они, на фонарях экономят? – И довольно захохотал: – А им просто свет не нужен. Они с наступлением темноты самовоспламеняются!

* * *

Когда собрались выходить и сунулись наружу, дождь уже расхлестался вовсю. Накрывшись курткой Леона, добежали до стоянки, за две минуты вымокнув насквозь. Влезли в свой «Рено-Клио», включили печку... которая, как выяснилось, не работала. Сволочь Жан-Поль, ругнулся Леон, отирая мокрыми ладонями мокрое лицо, не предупредил! А надо было «Пежо» брать, желтое солнышко, тот хоть поновее...

Грохот дождя по жестяному навесу стоянки перекрывал все звуки, даже гомон и гул колоколов. А еще ведь предстояло искать ночлег, какой-нибудь отель неподалеку, влезть под горячий душ, переодеться в сухое...

– Как там Желтухин? – озабоченно спросил Леон, оборачиваясь. – Не помер, бедняга?

– Не знаю, молчит... Господи, папа тебя прибил бы! Зачем ты потащил кенаря в Лондон, можешь сказать наконец?

– Это подарок Фридриху.

– Что?! Да послушай... птицы – совсем не по его части!

– А вот это мы увидим, – буркнул Леон.

Выехали из крытой стоянки под обвал дождя, заколотившего в лобовое стекло машины остервенелыми кулаками. Леон запустил дворники на предельную беготню и воскликнул:

– Потерпите, птицы! Я знаю, где мы заночуем! – И повернулся к Айе: – В замке! Хотите в замок, принцесса?

– Смотри на дорогу, умоляю, – отозвалась она, стуча зубами. – Что ты еще придумал, что за замок...

– Скорее поместье. Для классического замка там нет оборонительных укреплений – ну, рва с водой, подъемного моста, чего еще? Дальнобойных мортир на стенах... Но галерея для менестрелей в дубовом зале и поворотный круг, такой, чтоб развернуться четверке лошадей, – это есть. И камин, в котором можно гулять по утрам, если пробить железную заслонку.

Леон и сам не знал, почему вспомнил про замок. Тот вдруг восстал в памяти во всем своем неуклюжем и неухоженном великолепии.

– Это недалеко, во Фламандском Брабанте, – торопливо пояснил он, – на пути в Лёвен... Прелестный шато, благородная романтика, бесконечные коридоры. Под ноги только

надо смотреть.

– Зачем под ноги?

– Чтобы в колдобину не угодить.

– Он что, на реставрации, этот замок?

Ее простодушный вопрос почему-то привел Леона в восторг. Мгновенно перед глазами возникла милейшая чета Госсенс, его давние знакомые, Шарлотта и Марк (длинная цепь приятельств, украшенная *дуолями-триолями* побочных музыкальных связей и дружб) с целым выводком то ли пятерых, то ли шестерых очень музыкальных отпрысков. Этот караван замыкал ослик, баловень семьи, круглый год пасущийся на худосочном газоне перед внушительным, хотя и обветшалым парадным въездом в замок.

Оба, и Марк, и Шарлотта, время от времени перехватывали пару преподавательских семестров в университете Лёвена. Марк был политологом-славистом, Шарлотта хуже того – специалистом по музыке барокко. В длинных перерывах между университетскими заработками семья жила на пособие по безработице. Замок достался им в наследство – кажется, родители Шарлотты каким-то боком приходились родней королевской семье. Таким образом, простые и неприхотливые Госсенсы угодили в безнадежную социальную ловушку: получить муниципальное жилье владельцам замка, даже многодетным, – трудновато. Чинить все это бывшее величие Фландрии ни у них, ни у короля денег не было. Замок

все больше ветшал, ценнейший узорный паркет (дуб и липа, палисандр и дусия) рассыхался и вздыбливался, неутолимый жучок точил мощные балки стен и кессонных потолков; в зимней оранжерее под дырами в стеклянном куполе чахли простуженные пальмы, сена на газоне для ослика явно не доставало, так что бедная животина перебивалась шоколадом.

Когда проваливались полы на одном этаже, семья перебиралась на другой.

Но одну из спален в бесконечных коридорах замка хозяйева привели в удовлетворительный вид и сдавали неприхотливым путешественникам («Тоже грош, какой-никакой», – говорила Шарлотта). Года два назад Леон провел у них три безмятежных летних дня между двумя концертами – в Брюсселе и Брюгге, скармливая ослику все, что выносил после завтрака, весьма щедрого для такого скромного пансиона.

– Там есть огромная спальня, – сказал он, правой рукой растирая заledenевшие в мокрых джинсах колени Айи. – Такие перины, ах и вах! А у меня есть принцесса, которую я с упоением уложу на горошину...

– Смотри на дорогу, не трепись! – воскликнула она, трясясь от холода и обнимая себя обеими руками. – И руль держи! Если мы еще перевернемся...

Но они не перевернулись, хотя и проблуждали добрых часа полтора под обложным дождем. Ночь захлебывалась в могучих струях воды, раскачивала, трепала машину, обруши-

вала водопады на лобовое стекло. И Леон, и Айя совершенно окоченели, нахохлились, успели дважды поссориться. Кроме того, стрелка индикатора топлива уныло клонилась вниз, настойчиво намекая: подкормите лошадку...

Наконец нужный указатель вспыхнул в свете замызганных фар; оба они дико вскрикнули, свернули, еще раз свернули – на сей раз прямо в распахнутые ворота шато, которые никто никогда не закрывал. Въехали между двумя облупленными кирпичными колоннами, на каждой из которых грузно восседал нахохленный каменный грифон с фонарем в клюве, и покатили по воющему от штормовых порывов парку. Деревья раскачивались, как толпа безумных фурий. Впереди на холме мрачно громоздилась зубчатая туча, густо заштрихованная ливнем, – это и был замок. Слава богу: в трех окнах хозяйского этажа горел свет. Здесь поздно ложились.

Леон проехал длинную, в рытвинах, подъездную аллею («Если у них и в комнатах такие ямы, – пробормотала Айя, хватаясь за что попало – за колени Леона, за спинку сиденья, даже за руль, – то лучше уж в машине заночевать»), свернул к западному входу и прогудел тремя протяжными сигналами – больше шансов, что хозяева услышат полуночных гостей: дверной звонок мог быть испорчен.

И правда, через пару минут дверь приоткрылась, из нее выпал столб желтого света, в котором возникла долговязая мужская фигура. Приспустив боковое стекло, Леон крикнул: – Марк! Принимай несчастных, хочешь или нет!

Марк в ответ что-то приветливо и бодро гаркнул, хотя по интонации Леон понял, что в пелене дождя гостя тот не узнал. Но к гостям здесь привыкли и принимали в любой степени опьянения, безумия, обнищания и влажности. Возможно, сказывалась славистская закваска Марка: в молодости он года три ошивался в Ленинграде, якобы одолевая аспирантуру, а на деле борясь за чьи-то права и с опасностью для жизни провозя в замурзанном рюкзаке и за ремнем джинсов запрещенную литературу.

Прихватив с вешалки в холле старый клеенчатый плащ, Марк сбежал по ступеням к машине и тут лишь узнал Леона: сквозь потеки дождя на стекле Айя видела бурные, судя по губам, восклицания по-французски.

Леон выскочил и врезался в его пылкие объятия. Затем они извлекли из машины Айю, клетку с обморочным Желтухиным, с головой укутали их в плащ, так что старая пыль, прибитая дождем, сразу же забилась в волосы, глаза и ноздри, и потащили эту странную фигуру (Марк крикнул по-русски: «Инсталляц девушка с папигайчик!»), обнимая с двух сторон, неуклюже взбираясь по ступеням к двери. Когда ввалились в холл, всех троих – и Айю, несмотря на плащ, – можно было вешать на просушку над камином, если бы тот работал. Но он не работал уже несколько лет – по запрету пожарной службы.

Здесь горела одна-единственная лампа где-то в горних высях потолка, освещающая высокую резную дверь парадной залы

(темный дуб, щедро отделанный бронзой). А дальше простиралась великая тьма гигантского холла. Светя под ноги фонариком, хозяин провел гостей к подножию величественной (даже в этом скудном свете) мраморной лестницы, и, оставляя мокрые следы на протертом ковре, они стали подниматься в жилые покои семьи – великое восхождение к престолу увядшей королевской славы: миновали галерею для менистрелей, несколько переходов с плавными полукружьями мраморных перил. Наконец Марк толкнул дверь третьей или четвертой справа по коридору комнаты, откуда хлынули свет и тепло, и гости вдруг попали в ярко освещенный, благоуханный, кофейный, шоколадный, хлебный, жарко натопленный рай.

Кухня была прямо-таки королевского размаха: в центре над пылающей чугунной печью сияла обитая красной медью огромная вытяжная труба-геликон, которой вторила надренная медь развешанной по стенам кухонной утвари. В углу пришепетывал современный газовый камин с тихой бурей голубых огоньков за стеклом. Все это сливочным блеском отражал и множил прекрасно сохранившийся старинный кафель стен. По шоколадным плиткам пола гонял на трехколесном велосипеде четырехлетний малыш, огибая мраморный разделочный стол, за которым примостился с ноутбуком старший сын лет семнадцати. А из глубокого потертого кресла уже выпрастывалась навстречу гостям толстуха Шарлотта (опять восклицания, объятия, быстрая, как полет стрижа,

французская речь под писк обалдевшего – уже от тепла и света – Желтухина).

Леон извлек из дорожной сумки две бутылки бордоского «Saint-Emilion». Из холодильника приплыли сыр, маслины, какой-то буро-томатный салат в пластиковой коробке, и главное – ура! – багет и масло, и баночка не то варенья, не то джема. Тут же был снят с гвоздя за дверью необъятный флисовый хозяйкин халат, и, дважды в него обернутая, Айя утонула в кресле Шарлотты, готовая тут же заснуть... и заснула! Но минут через пять ее растормошили, придвинули вместе с креслом к столу, сунули в руки пузатую фаянсовую чашку крепкого чая с толикой лимонного ликера – от простуды. И затем оставили в покое.

Все трое – Марк, Леон и Шарлотта, – судя по бешеной артикуляции и ежесекундному смеху в запрокинутых лицах, были увлечены оживленной перепалкой; Леон, кажется, даже принимался петь. В теплом воздухе плыли ароматы чая, кофе, душистого лимонного ликера, разогретого в печке багета. Пацан на велике нарезал вокруг стола опасные круги, не обращая внимания на окрики взрослых.

Айя прикрыла глаза, отплывая все дальше в блаженном озере тепла и света, ничего не желая, кроме как сидеть здесь и сидеть, утонув в пушистом коконе хозяйского халата. И если б ей сказали, что она останется в кресле до утра, она была бы абсолютно счастлива. И полагала, что так оно и устроит-

ся.

Но минут через сорок, когда оба ребенка – и большой и малый – были отправлены спать, Айю опять растормошили, всучили клетку с уснувшим Желтухиным, потащили из кухни. Прихватив фонарик, Марк пошел сопровождать их до «апартаментов».

И вот эта дорога была едва ли не длиннее их дороги сюда из Брюсселя. Возможно, потому, что шли в темноте, за скудным лучом электрического фонарика, обходя опасные выбоины в паркете. Под ногами на все лады всхлипывали и кричали прогнившие половицы. То справа, то слева их обгоняли зловещие тени, лежа бегущие по стенам, где, как в теневом театре, вырастала гигантская клетка с нахохленной тенью Желтухина и уплывала к черным балкам потолка. Луч фонаря выхватывал пузырящиеся останки обоев позапрошлого века – тисненные «флёр-де-лис», золотистые «бурбонские» лилии с прорезами красного кирпича.

Айя чувствовала себя внутри какого-то барочного романа: бесконечные коридоры этой сюрреалистической коммуналки (вереница дверей справа, вереница – слева) казались сном, наваждением, чередой кадров из позабытого старого фильма о призраке замка. Летучих мышей тут не хватало. Впрочем, в других крыльях замка, возможно, водились и они.

– Сколько тут комнат? – спросила она, тронув Марка за

руку.

– На этаже? – спросил Марк, обернувшись.

– Нет, вообще, в замке?

Он рассмеялся, будто она спросила о количестве птиц в здешнем парке, тоже взял ее за руку и ласково сказал:

– Кто ж их может сосчитать, дорогая. Здесь веками достраивалось то и это, потом еще какое-то крыло, и еще пристройка, и еще башенка... И кому понадобилась бы эта статистика?

Нужную спальню сам хозяин отыскал с третьей попытки: вначале сунулись в комнату с пыльной тушей старого рояля среди обломков стульев и оттоманок, затем нырнули в какую-то, судя по высоким книжным стеллажам, библиотеку, трижды в коридорах шарахались от зеркал, с амальгамой, изъеденной, как тело прокаженного: зловещие рожи, что глядели оттуда, оказывались их собственными лицами, подпаленными светом фонарика...

Наконец, одолев очередное колено этого сновиденного коридора, Марк завернул за угол, издал охотничий вопль, толкнул дверь и, нашарив выключатель, щелкнул.

Здесь ожили и люстра, и два прикроватных бра. Выплыла – на подиуме, как сцена в кафешантане, – огромная, с резным изголовьем, с жеманным кисейным пологом дубовая кровать, идеально застеленная белоснежным бельем. У стены напротив – такой же дубовый заковыристый шкаф, ти-

па исповедадьни из ташкентского костела, длинная скамья с высокой спинкой и комод, на который и была немедленно водружена клетка с притихшим от страха и качки Желтухиным.

Ничего лишнего в этой комнате не было, кроме грандиозного кресла с такой же резной лиственнно-желудевой спинкой чрезвычайной высоты и строгости – кресла, явно перевезенного в опочивальню из зала королевского суда.

Это был блаженный конец пути, их ночлег, их райская обитель...

Марк, несколько смущенный лоцман, улыбнулся Айе и сказал:

– Надеюсь, дорогая, этот наглец не посмеет вас тревожить, и вы проспите ночь, полностью откинув копыта. – И Леону: – Старина, весь этаж в вашем распоряжении. Ты еще помнишь, где ванная?

– Да, тут недалеко, – ответил Леон, – километров пять. Но...

– Но горячей воды сегодня нет, – покладисто завершил Марк, вручая им фонарик, как букет фиалок – лампочкой кверху; после чего бесстрашно канул во тьму. И откуда-то (из какого камина?) докрикнул с дружеским смешком: – Только снимите обувь, когда полезете в кровать! И сами виноваты, предупреждать на... – Дальше эхо заструилось ему вслед, уползло, шурша вслед угасающим шагам.

– Он что-то сказал? – спросила Айя.

– Ничего хорошего, моя бедная принцесса. Пойдем все же, попытаем счастья в этой проклятой ванной?

Минут десять кротовых блужданий под шуточки Леона, что метки надо бы ставить, как Том Сойер – на стенах пещеры, потребовались, чтобы разыскать ванную. Нашарили выключатель – и сиротский свет одинокой лампочки явил им стылое великолепие мраморных площадей.

– Вот это да-а-а... – прошептала зачарованная Айя. – Где кончается сия бальная зала? И где обещанная галерея для менестрелей?

Действительно, огромное до оторопи помещение можно было запросто принять за что угодно: зал конгрессов ООН, главную площадку Карнеги-холла... Одинокая лампочка – высоко, в небесах потолка – не в силах была зажечь и умножить огни в подвесках хрустальной люстры. В этом жидком, как спитой чай, свете (Барышня такой чай называла «пишерс»² и требовала, чтобы экономная Стеша немедленно заварила свежий черный прямо в ее стакане) торжественными ладьями плыли вдоль стен две глубокие, обшитые красным деревом мраморные ванны. Из оскаленных пастей бронзовых львиных морд торчали бронзовые краны.

От всего веяло холодом склепа: от бугристых стен (те же обои «флёр-де-лис», темные, как кожа христианских мучеников), от огромных высоченных окон с бархатными пор-

² Моча (*искаж. идиш*).

тьерами, от мраморного столика, от кокетливого новенького биде и шаткого унитаза шестидесятих годов прошлого столетия, с подвесным бачком и свисающей на цепи фаянсовой грушей. Когда окоченевшей рукой Айя открыла кран, из него полилась струйка ледяной воды.

Так что из всех предметов этой блистательной залы они решились почтить вниманием только унитаз, после чего пустились в обратный путь мрачными катакомбами коридоров, трижды обознавшись на тех же поворотах: сначала уткнувшись в тусклый бок давно онемевшего рояля, потом сунувшись в библиотеку.

Сколупнув только обувь, и то по наказу Марка и из уважения к трудам хозяйки, в постель заползли одетыми, не сняв ни свитеров, ни джинсов («Ночь любви отменяется, и меня не осудит даже изголодавшийся подводник», – бормотал Леон), обнялись покрепче и закопались под одеяло, как в сугроб, выбивая зубами мелкий зуммер.

Посреди ночи Леон не выдержал, вскочил, сорвал одну из портьер и накрылся с головой пыльным бархатом давно усопших королей...

* * *

...который утром оказался истинно королевским: винно-красным, ликующим, неумирающим, и курился мириадами веселых пылинок, облекая силуэт спящей на боку Айи.

Плита солнечного света, косо вывалившись из высокого окна, лишенного ночью гардины, падала на обои цвета топленого молока или старой кости – местами они потемнели до умбры жженой, но сохранили грубую текстуру дорогих обоев позапрошлого века: все тот же рельеф «бурбонских лилий», благородная труха поблескивающей в утреннем солнце позолоты.

Сейчас комната выглядела светлой и просторной; всюду – на столбцах балдахина, карнизах и дверцах шкафа, на высокой спинке прокурорского кресла – весело лепетали резные дубовые листья, пересыпанные ядреными желудями.

Изголовье кровати, сработанное искусным резчиком, являло собой кавалькаду пышнотелых нимф, окру живших разнузданного сатира. Видимо, лет триста назад сей игривый барельеф служил хозяевам замка чем-то вроде возбуждающей картинки из «Плейбоя».

Вместо сорванной гардины голубело небо, усердно протертое вчерашней бурей, а откуда-то снизу (чудесное наваждение? ведь это не может быть записью?!) – поднимались «Дунайские волны» в живом исполнении симфонического оркестра – конечно, малый состав, но и того хватит, чтобы согнать ослика с его газона.

Откуда оркестр? Ну да, в прошлый раз Марк рассказывал о своем друге, дирижере местного городского коллектива: тот конфликтует с кем-то из администрации концертного зала, и потому по выходным дням Марк пускает оркестран-

тов репетировать в замке...

Музыка, несмотря на «волновую природу звука», не могла разбудить «принцессу на горошине», закутанную в портьеру, в одеяло, одетую в джинсы, майку и джемпер: слишком надежно упаковано это чуткое тело. Айя крепко спала: пунцовая щека, належенная за ночь, даже на взгляд излучала жар.

Он тронул губами горячую бархатную щеку в ореоле золотых пылинок... не дождался ни единого движения в ответ и принялся за осторожные раскопки, бормоча:

– Безобразие... это археология какая-то... это какие-то римские колесницы, рыцарские латы... чертов пояс верно-сти...

На последнем этапе раскопок она шевельнулась, заскулила сквозь сон, захныкала, выпутывая из губ медленные:

– Н-ну-у-у... н-н-невежливо... дайте ребенку поспа-ать...

Как это – поспать, возразил он, терпеливо выкапывая ее из-под слоев старых пыльных портьер, разворачивая, распеленывая, как мумию, я археолог, у меня плановая расчистка местности. Шеф, у меня *персонал простаивает*, можете убедиться... И тихо, вкрадчиво высвобождая из-под завала белья, одежды и гардин ее горячее – обожжешься! – тело, ахая при обнаружении очередного *артефакта*, выцеловывая его и бормоча: «Герцль, где моя грудка?», приговаривая: «Вот старшая... а вот младшая... а вот и старшая... а познакомь-

тес: моя младшая...»

– Боже, как строго на нас смотрит призрак прокурора из того кресла... Нет, только глянь на эту порнографию у тебя над головой... Слышь, нимфа?! Открой глаза. Если б у меня был такой... *персонал*, как у этого с-с-сати-и-ира-а-а... я бы пере... пел всех сопрано во всех королевских... – ...вдруг умолк, прислушиваясь к музыке, будто ожидая сигнала...

– Ну?! – учащенно дыша, выдохнула она; глаза уже открыты (светлый текучий мед, прозрачный янтарь в солнечном луче, зеленоватый, с вишневыми искрами): – Ау, персона-ал?!

И его разбойничий глаз, смола горячая, близко-близко к ее губам, а голова в профиль – к окну:

– Постой... это «Дунайские волны»... вступление... вот... вот сейчас...

И они накатили, эти волны, стремительные, жаркие, с качельными крутыми взлетами властного ритма, с этими божественными оттяжечками (внезапными – для людей непонимающих), с кружением комнаты вокруг королевской кровати, с опасным (на раз-два-три) поскрипыванием полога над головой, с яростным лучом солнца, прожигающим два тела на ветхом, но, черт побери, пурпурном, и значит, все же королевском бархате гардин... И несло, и кружило течение умопомрачительного вальса, всем составом оркестра внизу подхватывая и уверенно подводя *неудержимо вальсирующую пару* к заключительному аккорду финала...

– Стыдно признаться, – (это уже Леон, выравнивая дыхание, с академической миной на все еще разбойном лице), – но подобная упоительная сцена впервые проходит у меня в живом сопровождении симфонического оркестра. И надо сказать, в этом качестве с вальсами вряд ли что сравнится!

Несколько месяцев спустя она будет бесконечно прокручивать в памяти несколько драгоценных кадров этого утра, каждый раз так больно обжигавших ее, что даже отец замечал что-то в лице и говорил: «Ну, прошу тебя... прошу тебя... просто не думай! Старайся не вспоминать...» Но она все крутила и крутила свои неотснятые кадры: вот они бегут (весь этаж в нашем распоряжении!), голые беспризорики, свободные от всего мира, бегут по бесконечным коридорам в ванную, такую же холодную, но уже залитую солнцем сквозь переплеты высоких, прямо-таки церковных окон; вот, запрыгнув в мраморную ладью и включив краны, поливают друг друга ледяной водой и вопят от холода, как дикари, от счастья вопят, от солнца, а потом Леон с остервенелым рычанием растирает всю ее обеими ладонями до пылающей, как от ожога, кожи и, завернув в халат, взваливает тюком на плечо и несет – «С ума сошел, во мне аж сорок восемь кило!» (видела бы она, пушинка, как в марш-броске он таскал на носилках Шаули...) – и несет чуть ли не бегом обратно в спальню, где проснувшийся Желтухин Пятый, путешественник и златоуст, закинув головку и раскрыв клюв,

встречает их такой залихватистой серебристой «овсянкой», что кое-кто из присутствующих мог бы и позавидовать...

*** * ***

А какой горячий шоколад подавали здесь на завтрак, какие воздушные рогалики!

– Жюль приносит из булочной, – пояснил Марк, словно они должны были знать и неизвестного Жюля, и эту булочную. – Масла не жалейте. Джем вот, клубничный-малиновый... – И добродушно добавил: – Жрите, жрите, голодранцы влюбленные. Мы слышали, как вы орали...

И еще часа полтора они сидят в этой кухне, залитой солнцем и богато оркестрованной медью (никогда бы отсюда не уезжать, тем более в этот проклятый Лондон), и, судя по ритмичным волнам, охватывающим тело тугими кольцами, музыка внизу все звучит, так что, беседуя, Леон и Шарлотта *громко шевелят* губами в споре. Что-то о Вагнере... какой-то *мужской хор в финале*... «Неизвестно, у кого он спер эту тему. А что? В то время плагиатом не брезговали. Вспомни: Беллини запросто воровал мелодии у своего учителя Россини и одновременно, сука, писал на него доносы! А Вагнер... кстати, и с “Полетом Валькирий” есть некоторые сомнения у понимающих людей... Нет, я не потому, что он зоологический антисемит! Но согласись, что мелодиче-

ские линии этих оперных сцен не свойственны вагнеровскому мышлению. Согласись!» «Ты хочешь сказать: “А был ли Вагнер?”». «Я хочу сказать, что он стибрил эти великие темы неизвестно у кого...»

Видимо, оркестр внизу играл именно Вагнера, тот самый мужской хор... Когда спор с Шарлоттой зашел в тупик, Леон вдруг подскочил к Айе, сорвал ее со стула, подхватил и увлек к окну. Толкнул приоткрытую створу и запел с вызывающим видом:

Der Gna-ade Heil ist dem Busser beschie-eden,
er geht einst ein in der Seligen Frie-eden!³

...простирая руку картинным оперным жестом туда, где за каменными плитами двора осели от времени каретные сараи и давно опустелые конюшни с покосившимися башенками; где в огромной синеве утреннего неба купались отблески утра, а в пенном прибое легких облачков широким парусом двигалось умело поставленное облако; где на ближних холмах теснились еще прозрачные деревья замкового парка:

Hallelu-ujah! Hallelu-ujah! Hallelu-ujah!

Прижатая к нему всем телом, Айя задохнулась, чувствуя

³ Отверзлась дверь милосердия благая, Вступает грешник в селения рая! (нем.)Пер. В. Коломийцова.

глубинную работу живых мехов, и, положив ладонь на грудь Леона, удивленно спрашивала себя: неужели это не бас? – такая резонирующая мощь вздымалась изнутри.

Зато звуковые волны, что накатывали снизу, из парадной залы, вдруг оборвались, и на террасу под окно высыпал состав всего оркестра – все одеты кто во что горазд, в джинсах и свитерах, в пиджаках и куртках. На запрокинутых лицах – изумление, восторг, веселая оторопь; и когда Леон умолк, струнники застучали тростями по декам – аплодисменты оркестрантов... Он слегка кланялся в высокой раме окна, поводил правой рукой, как бы разворачивая сердце к слушателям, левой по-прежнему тесно прижимая к себе Айю.

Наконец они собрались и, чтобы не отвлекать музыкантов, сбежали – по величественной мраморной лестнице, застланной дырявейшим на свете ковром, мимо мозаичного панно, где потускневшие рыцари Круглого стола с кубками в руках по-прежнему чествовали короля Артура, мимо застенчивых улыбок мраморных нимф, мимо грандиозной, прямо-таки соборной двери в залу парадных приемов...

Огибая кадки с чахлыми пальмами, прошмыгнули в оранжерею с дырами в стеклянном куполе и черным ходом выскочили в ослепительное утро, после чего минут пять еще искали свою машину, к которой их в конце концов привел – величавой походкой дворецкого – старый вежливый ослик.

— А что такое «аллилуйя»? — спросила Айя, когда они уже выехали из ворот, оставив позади мрачных грифонов в навалившихся въездных колонн. — Знаю, что молитвенное заклинание, но что означает само слово?

Леон помедлил и сказал:

— Оно означает: «Славьте Господа!»

— На церковнославянском?

Еще одна крошечная пауза:

— Нет. На древнееврейском.

И улыбнулся этой своей непробиваемой улыбочкой, подмигнул ей и нажал на газ...

Но и об этом она вспомнит гораздо позже.

4

Единственно, что раздражало его в Англии, — их пресловутые рукомойники с пробкой в сливе и двумя кранами, с ледяной водой и с кипятком: постояльцу почтенного заведения предлагается ловить обе струи и смешивать их в пригоршне, отдергивая руки, как лягушка лапки. Не брезгливые, впрочем, могут набрать в раковину воды и плескать в физиономию в свое удовольствие...

В остальном любил он и лондонскую публику, на редкость сердечную, и лондонские залы, и все это вычитанное из книг, сегодня почти мифическое *невозмутимое британство*... Когда оказывался здесь, накидывал, если позволяло

расписание, еще день-два – на Британский музей, на концерты, а порой и на бездельное шатание *куда потянет* и с удовольствием глазел на каких-нибудь болванов, важно топающих зимой в сланцах на босу ногу, а летом, наоборот, изнывающих от жары под шерстяными шапочками.

Ему нравилась и мгновенная смена здешней погоды – от проливного дождя до блеска яркого солнца, будто кто-то гигантский, вселенский смаргивал слезу и вновь таращился беспечной сферой голубого ока на британскую столицу. Нравились баржи и кораблики на Темзе, золотые отблески огней прибрежных баров на ее тягучей, как патока, воде; протяжные гудки и запах речного тумана...

Нравились чудесные летние парки с шезлонгами на каждом шагу, уютные старые пабы и то, что в центре Лондона можно обнаружить старый дом с садом, качелями и с каким-нибудь двухсотлетним буком, под которым жильцы спокойно жарят шашлыки и кол баски.

Как раз в один из таких старых домов, разве что без мангала под деревом, Леон предполагал наведаться.

Но накануне еще предстояло отпеть пару номеров в вечернем концерте в Кембридже, в знаменитой Часовне Кингс-колледжа.

* * *

Репетиция была назначена только одна и на утро, так что,

прибыв на Паддингтон в вагоне «Евростара» в 8.45, они сразу угодили в нетерпеливые объятия встречавших, коих было трое (Леон пробормотал: «Вечная тройка военного трибунала»). Принимавшую сторону возглавлял и нещадно мордовал некий Арсен, доверенное лицо Филиппа в Англии – тот называл его «мой лондонский мальчик». «Мальчику» было за шестьдесят, но он всегда, в любое время года выглядел так, будто собрался на танцы где-нибудь в Буэнос-Айресе: щегольской, белый в полоску, костюм, остроносые белые туфли, платочек здесь, платочек там и неперменные дымчато-сиреневые очки в сиреневой оправе. У Арсена была страшная судьба мелкого бизнесмена, попавшего в мясорубку большого грязного бизнеса в начале 90-х где-то в Воронеже. Дикая судьба: убийство бандитами дочери-подростка, пытки в милиции, затем одиночная камера в тюрьме и что-то еще подобное, о чем он сам никогда не распространялся, но описывал в стихах. Да-да, и, говорят, очень неплохих стихах, по которым можно было восстановить цепочку чудес: освобождение из темницы фараона, перемещение в Лондон, воссоединение семьи... Леон не знал подробностей биографии этого, как говорил Филипп, «современного святого великомученика», потому что стихов не читал вообще никогда и никаких. Но знал, что ушлый Филипп давно выдал Арсену большую генеральную доверенность в Англии.

Итак, Арсен представлял в этой тройке интересы Леона и Филиппа; двое других представляли администрацию Кем-

бриджа: пожилая полная дама русского происхождения и председатель какого-то там студенческого то ли совета, то ли комитета, не первой молодости парень («Называйте его Рик, он простой и свойский и к тому же, хи-хи, бывший хиппи»).

Встреча была ликующей, с ненужным и обременительным букетом цветов, несмотря на то что, как заподозрил и не ошибся Леон, все трое переругались, ожидая певца на перроне.

Кажется, больше всего их изумил Желтухин в своей медной карете: «О-о, какая птичка милая – это такой попугайчик?» «Нечто вроде». «Вы его из Парижа везли?!» «Да, это мой талисман: он вступает в паузах и держит ноту, пока я отдыхаю». Дама («Ольга Семеновна, но вы зовите меня просто Оля») округляла большие доверчивые глаза, потом спохватывалась и мило хихикала. «А ваша... э-э... спутница?» «Это тоже мой талисман. Она глухонемая, знаете, очень удобно для певца. Вы понимаете жесты глухонемых?» Испуганно-огорченные глаза: «О, нет, к сожалению...» «К тому же понимает она только по-казахски. Вы говорите по-казахски?» «Ой, н-нет, простите!» – И вновь – испуганно-виноватые глаза и мгновенье спустя – понятливое хихиканье.

– Ну, поехали, поехали! – возопил Арсен. – Промедление смерти подобно! – У него была слабость к высокому штилю и командным замашкам. Филипп говорил: «Имеет право: биография страстотерпца, помноженная на советско-бандитское прошлое». – Нам бы до пробок успеть!

Нет, не успели: тащились и тащились, мечтая добраться хотя бы к началу репетиции, – уже не до освежающего душа. Впрочем, в конце концов все успелось и все устроилось.

Еще в поезде Леон предупредил Айю:

– Они пишут, что им «удалось ухватить» комнату в гостинице Кингс-колледжа... Сам колледж – ты бывала там? – действительно прекрасен: пламенеющая готика, башенки, щиты с гербами, каменные химеры, витражи и мрамор, все как полагается. Но комната будет наверняка с раздолбанными кроватями, заржавелым душем и отсыревшей стенкой в ванной. Да: и не иди на поводу их идиотских ритуалов – ну, там, нас пригласят ступить на газон: ходить по траве простым смертным почему-то запрещается, можно только профессорам и их гостям. Принципиально – не топчи травку. И ради всех святых, не поддавайся на уговоры кататься на их дурацкой плоскодонке!

Все это их ожидало: и величественный замок Кингс-колледжа, и – перед башнями ворот – статный служитель в черной мантии с лиловым шарфом, свисающим ниже колен, и двор с первостатейным газоном размером с футбольное поле, и грандиозный собор, где вечером Леон должен был петь... Старая добрая Англия.

Навстречу – по диагонали через лужок – к ним направлялся меланхоличный пожилой парень в мятых брюках и оттянутом на локтях свитере.

– Ступите! Ступите на газон! – ликующим шепотом про-

стонала Ольга Семеновна. – Какая удача, что мы встретили Стивена! Именно профессор Грэдли подписывал вам приглашение, значит, вы имеете право! Немедленно ступите на газон!

Неугомонные и радушные Оля и Рик повлекли их осматривать знаменитую обеденную залу. И было чем любоваться: стрельчатые потолки, витражи и гобелены, портреты королей и ректоров с неумолимыми лицами, старинные лампы над длинными рядами дубовых столов... Мрачноватая баронская пышность, неслышимый шелест академических мантий.

Впрочем, дальше по коридору можно было расслабиться в другой столовой, видимо, для гостей – в комнатенке с пластиковыми столами, за одним из которых сидели два бородатых господина и, оживленно о чем-то споря, заглатывали серые макароны.

А номер оказался в точности таким, каким его описал Леон, все было на месте: две заботливо сдвинутые уютные кровати, заржавелый душ, застиранные полотенца и отсыревшая стена в ванной комнате.

– Молодцы! – сказал Леон с лукавым удовлетворением в голосе. – Только так и можно отстоять незыблемые ценности британской короны.

Арсен умчался, и можно было не сомневаться, что до вечера его ждет нескончаемая карусель самых неотложных дел

(«Интересно, когда он пишет свои пронзительные стихи?»). От остальных милых опекунов повезло ускользнуть лишь на время репетиции, когда Айя просто отсыпалась в номере. Но после полудня «наших гостей» вновь объяли радушным вниманием, потащив гулять по городку.

Ранняя весна (дымный солнечный свет, перламутровые стружки перистых облаков на слабой голубизне) уже окатила нежной зеленью буки, ясени, липы и дубы старинного студенческого городка. Неугомонными стрижами летали велосипедисты с корзинами на багажниках. В витрине магазина дамской одежды медленно крутились три безголовых манекена на крюках – как туши в мясной лавке. Похожие на вертела шпили церковей пронзали облачную карусель, и в воздухе висел постоянно угасающий гул колоколов, мечтательный и стойкий, будто одна колокольня передавала другой дежурство по небу.

Бывший хиппи, а ныне, как выяснилось, физик-теоретик, заведующий одной из ведущих лабораторий Кембриджа – но все равно в сланцах на босу ногу, – потащил их кататься по реке Кем на знаменитой кембриджской плоскодонке. Леон попытался элегантно отвертеться: а если я упаду в воду и промочу свой голос? Грозно округлял глаза, исподтишка показывая Айе кулак. Но та прямо-таки вцепилась в это предложение, и вся компания потащилась по переулкам вниз, к лодочной станции. По пути добрейшая Ольга Семеновна – у нее были милые отзывчивые карие глаза, такие добрые,

что пропадало желание дурачить ее шуточками, – торопливо втемняшивала им *сведения и факты*: понимаете, соревнования и катания на плоскодонках – это важная часть кембриджской жизни! И важное противостояние с Оксфордом. Тамошние идиоты гребут, понимаете ли, сидя, зато мы стоим на корме и управляем лодкой с помощью шеста...

Она все время говорила это «мы», и хотелось расспросить, откуда она родом, в какой советской школе училась (он представлял ее на торжественной линейке, девятилетнюю, пухленькую, в белом переднике, ногти немилосердно обкусаны: уроки музыки, неперенный «Полонез» Огинского...).

Тут и выяснилось, что Рик в гребле – настоящий ас, бывший капитан команды Кембриджа. Когда Ольга, опираясь на руку Леона, грузно опустилась на скамью, Рик, мягко оттолкнувшись шестом, послал лодку вперед, и по неширокой и неглубокой реке они поплыли под мостами, вдоль зеленых берегов, мимо старых ив, низко склоненных к воде, мимо лугов с пасущимися лошадьми, накрытыми не просто попоной, а целым одеянием, со штанинами... Леон сказал: «Смотри, лошадь в лиловой пижаме!» «Ага, – отозвалась Айя, – у меня есть несколько рассказов о лошадях, которые...» – проплыли, проплыли... В воздухе по-прежнему дрожал, умирая, колокольный гул, что напомнило Леону дом-бум колоколов монастыря Сент-Джон в Эйн-Кереме.

Наконец все затихло. В тишине только мерно вздыхала река шепотливым плеском...

Вдруг где-то возникло и стало нарастать: «Ха-ал ли-луйя! Ха-аллилуйя!..» Изумительное хоровое пение чистейшего тона разлилось по воде, растеклось по воздуху... «Ха-а-аллилу-у-йя!..»

Рик и Ольга завертели головами, ища ближайший собор или церковь с отворенными окнами: музыка была явно литургической, звучала мощно и стройно...

– Да нет, это где-то здесь, на воде, – сказал Леон. – Псалом «Super flumina Babylonis»...

Вот и тебе подарок, вот и тебе привет – именно здесь, в пятнах солнца на медленной воде...

Вскоре из-под арки каменного мостика выплыли одна за другой три плоскодонки, каждая опасно нагружена целым взводом парней – с ними-то Леон и репетировал утром в Часовне: калифорнийский юношеский хор в полном составе.

Голоса над водой звучали фантастически чисто:

...Si oblitus fuero tui, Jerusalem,
oblivioni detur dextera mea.
Adhæreat lingua mea faucibus meis,
si non meminero tui;
si non proposuero Jerusalem in principio lætitiæ meæ.⁴

⁴ Если забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя! Прилипни язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не поставлю Иерусалима во главу веселия моего (*лат.*).

– Не напелись пацаны, – улыбнулся Леон и сам же не выдержал искушения, страстного требовательного зова, и когда лодки поравнялись, вежливо расступаясь, чтобы не столкнуться, послал высокий и сильный свой, как тетива натянутого лука, голос поверх дружных полудетских голосов:

– Ха-а-аллилуйя! Ха-а-аллилуйя!

Хористы узнали его, лодки придержали бег, образовался некоторый затор. Пассажиры на других плоскодонках не пожелали уплывать, очарованные неожиданным бесплатным концертом щедрой капеллы.

– Халлилуйя-Халлилуйя! Ха-а-а-аллилу-у-уйя!..

И когда над водой растворился последний звук псалма, со всех сторон взамен цветов полетели аплодисменты, и «браво!», и восторженный женский крик.

И этот, и этот неотснятый кадр остался в памяти Айи навсегда: ажурные каменные мостики, зеленые луга с исполинскими тюльпанами, задумчивая лошадь в лиловой пижаме, едва оперенные дымчатые ивы на медленной реке, длинный шест в руках бывшего хиппи, с усердным лицом продвигающего плоскодонку по течению...

И лица румяных американских парней, с безмолвно ликующей «Аллилуйей» в губах, над безмолвно благостной водой...

Леон переодевался к концерту, тщательно, через носовой платок выглаживая отвороты фрака походным утюжком, с которым не расставался в поездках. Утюжок Айя видела впервые, и ее рассмешили точечные движения заправского портного.

– А мое платье погладишь? – спросила она лукаво.

– Конечно, – отозвался Леон.

– У тебя хорошо получается...

– Все лучшее, что я умею в этой низменной жизни, досталось мне от Стеши! – произнес он высокопарно. – Тащи свое платье...

И пока выглаживал вытачки-складки и подол, она обняла его сзади, уперлась лбом в его затылок...

– Я в детстве так жила – у папы на спине, на его огромной звучащей спине, это был мой дом, моя родина... Он играл в шахматы с Разумовичем, а я на нем висела. Иногда папа вставал и шел на кухню – со мной, как с обезьянышем...

– У тебя замечательный отец.

– Можно я останусь жить на твоей спине?

– Конечно, можно.

– Но как же ты станешь петь, *последний по времени Эттингер?*

– На октаву ниже...

– Ты знаешь, что тебе очень идет фрак?

Он уже стоял одетый, отстраненный, окидывая и словно бы выпрямляя, выстраивая себя взглядом в узком длинном зеркале шкафа: поднимал и опускал руки, оттягивал книзу раздвоенный хвост манишки, будто примерял новый фрак у портного.

– Ты в нем такой стройный... даже высокий!

– Не смейся мою манишку...

– Ей-богу! Ты мне не веришь? Когда-нибудь, когда разрешишь, я сниму целый рассказ: «Голос». Начнется он так: ты голый распеваешься в душе – еще *домашний голос, росток голоса* в бедном теле...

– В бедном?! Это еще что за новости?

– ...а закончится – ты во фраке, в белой манишке, в бабочке... под сводами собора на фоне органных труб. И тогда уже Голос – повелитель, Голос – ветер и буря, судный Глас такой...

Она помолчала и проговорила трудно, хрипловато:

– Ты... ужасно красивый!

Леон расхохотался и воскликнул:

– Не произноси больше этой фразы, ради бога! Мне кажется, у тебя растут усики...

– Что-о?!

– Я это слышал от одной американки, с усиками. Мне было лет пятнадцать, я подрабатывал официантом, обслуживал

их столик. Она притерла меня в углу возле дамского туалета. И чаевые сунула – целых пятьдесят долларов.

– Да ты что!

– Да... У нее были капельки пота над верхней губой, усики в росе... И произнесла она нечто вроде, насчет моей божественной красоты...

– О-о-о! А ты?.. – с восторгом допытывалась Айя.

– Кажется, от ужаса я кончил прямо там, с подносом в руках... А теперь живо одевайся, говорю в последний раз, потом отлуплю как сидорову козу!

* * *

Леону доводилось петь в некоторых церквях и соборах Англии, и он ценил здешнюю акустику – она была безупречной. В этих величественных зданиях, как правило, не требовалось «подзвучки» микрофоном, при которой акустика становится сухой и напряженной, теряя драгоценные обертоны, стреноживая полет голоса.

В Часовне же Кингс-колледжа, где он дважды пел на концертах Королевского музыкального общества, акустика была просто изумительной, благородно-бархатной: придавала его «звону в верхах» огранку бриллианта.

Да и сам длинный зал грандиозной Часовни, черно-белые плиты мраморного пола, благородные и скупые по цвету витражи, стрельчатый потолок, зависший на тридцатиметровой

высоте скелетом диковинной окаменелой рыбы, и главное, великолепный орган с крылатыми ангелами, трубящими в золотые трубы, – все это подготавливало ликование Голоса, чуть ли не евангельское *введение во Храм*.

Сегодня Леону предстояло исполнить партию альты в баховской мессе *B-moll* «Dona nobis pacem» на латыни и – что особенно он любил – «Dignare» Генделя.

Уже предвкушал благородную поступь органа, что сдерживает – благословляя! – моление рвущегося к небу голоса.

...Всегда смаковал эти гулкие покашливания, шелест нотных партий, приглушенные шаги последних, крадущихся на цыпочках к своим местам слушателей... Два-три мгновения волнующей тишины, и вот уже протяжная мощь органного вступления торжественно и грозно раздвигает золотые ризы: – Di-igna-a-re, Do-omi-ine...

Три слога: первый скачок, секста вверх, плавное опадание на секунду... воля, простор, неимоверная благая ширь Господнего деяния – и струи пурпурных лучей хлынули, затопляя голубой, леденцовый, ало-желтый воздух собора.

Его мощный, гибкий и все же, как положено в духовной музыке, слегка потусторонний голос, мастерски сфокусированный, повисает в нужной точке пространства. Возможно, это и было секретом его удивительной власти над воображением публики: он всегда умело находил эту акустическую цель, внедрялся, прорастал и распластывался своим крыла-

тым голосом, распространялся, овладевая всем воздухом, всей скрытой мощью собора, покрывая им огромные внутренние пространства...

– Die isto sine peccato nos custodire...

Лапидарный Гендель, по мнению знатоков соотносящийся с Бахом как Бетховен с Моцартом, здесь, в «Dignare», превзошел себя. Каноническая гармония отброшена, и от чуда модуляций на протяжении нескольких тактов под остинатные удары мурашки бегут по коже, будто вглядываешься в химеры Нотр-Дама.

– Miserere nostri Domine, miserere nostri!

Разве думал прагматик Гендель, уравновешенный мастер золотого, почти закатного барокко, что этот пустячок – чуть меньше двадцати тактов – спустя почти три века превратится в мировой шлягер!

«Dignare»... Не зря в старину давали классическое образование: латынь, пусть в объеме гимназического курса, латынь – жаргон медиков, теологов и юристов, золотая латынь, которую, как говаривала Барышня, попутно прикарманили итальянский, испанский, французский, да и английский с немецким... А вот попробуй найти аналог – споткнешься! «Dignare»... «Удостой» – как в классическом переводе? Вряд ли. Скорее – «Сохрани в достоинстве, Господи, избавь от искушений».

– Miserere nostri Domine, miserere nostri!

Хорошо жилось тогда, в XVIII веке: чуть что – помилуй, Господи!.. А нам сегодня кого молить, у кого защиты искать? – Fiat misericordia tua...

Его голос взбирается вкрадчиво молящим «Miserere!» все выше, все выше, как бы испытывая публику, вручая ей еще более высокую ноту своего беспримерного диапазона:

– Do-omine, super nos, quemadmo-odum spe-eravimus in te... – как бы предлагая ступить вместе с ним на эфемерную лестницу, уходящую в такую запредельную высь, откуда не всегда и вернуться получается, *лестницу ангелов*, достойную, пожалуй, лишь легчайших шагов господних посланников, что снуют и снуют над головой спящего Якова, где-то там, где вырос и жил сам Леон:

– In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum.

Запрокинутое лицо Айи в зале... зачарованное – не пени-ем, конечно, а чем же? Всем этим великолепием? Витражами, внутренним убранством Часовни? Да вот же оно, то лицо, на крайнем слева витраже, голубой лишь накидки на голове не хватает. Вот она, Мария Аннунциата, что встрети-лась в Палермо, на холсте, в тот день, когда, сдавшись упорной мягчайшей осаде, он уже готов был сказать Николь слова, которых так долго она ждала – и не дождалась... Не дождалась! Что же остановило его? Предупредительно поднятая строгая ладонь: погоди, не торопись, угадай меня, узнай меня – вылови – на острове, в пропотевишей красной рубахе, со шрамом под лопаткой, с Желтухиным в истории

угрюмой семьи...

Молящее «Miserere!» все иступленнее, все настойчивее вздымается и рвется к небесам, распахивает невидимые божественные кулисы: сначала пурпурные, кровеносные, струйные, наполненные самым низким тембром диапазона, затем солнечно звонкие, складчатые, ликующие перебивы среднего регистра, затем полетно-лазурные, упоительные, выше которых, кажется, даже мечта, даже сон не взмывают... И наконец его бесплотный, невесомый, самый прозрачный его *белый голос* раздвигает последнюю невидимую завесу и растворяется в китовых ребрах гигантского потолка...

* * *

После концерта организаторы пригласили солистов и коекого из гостей на ужин в ресторан где-то на окраине городка: заведение, декорированное под деревенскую харчевню, предлагало здоровые мясные радости – запеченные свиные ноги, здоровенные стейки, рыбу, зажаренную целиком, с хрустящим картофелем. Здесь было дымно, тесно и шумно, весело наяживал, путаясь под ногами и задевая колени и локти сидящих, ансамблик-троица, скрипка-флейта-гармонь, и Леон, возбужденный, или, как говорила Барышня, «вздернутый» после концерта, приобнимал Айю какой-то *невидящей*, по-прежнему *концертной* рукой... Он еще не вернулся к ней,

всем существом еще стоял там, под органными трубами, и она – неожиданно для себя – так смешно, нелепо ревновала и злилась, не понимая, как ей вести себя в этом частокоче чужих лиц и рук, чужих восхищенных губ и глаз, обращенных к ее Леону, посягающих на него. А он, разгоряченный, непохожий на себя, обольстительный, *женственный*... как он отдается этим восхищенным глазам и губам, так предательски им отзывается, впивая мед и патоку комплиментов, льнет к ним, продолжая обнимать Айю *невидящей* рукой...

На него налетели сразу несколько человек: утренний Арсен, в другом уже, голубом, но таком же легкомысленном костюме танцора танго, кто-то из университетских преподавателей, любителей-меломанов, какой-то важный достопочтенный сэр – учредитель фонда (он слышал Леона впервые и прилип к его правому боку, как мидия, так что хотелось его отлепить и закинуть подальше в невидимое море). Все эти послеконцертные контрдансы и экосезы были для Айи обескураживающей новостью. А Леон, похоже, чувствовал себя как рыба в воде и лишь иногда, спохватываясь, слегка приваливал Айю к себе и машинально накладывал в ее тарелку еще одну ложку какого-нибудь дурацкого салата, даже не замечая, ест она хоть что-то или сидит – чужая, пришедшая. Глухая...

У Айи не было ни сил, ни желания ловить гримасы, жесты и перепевы разных губ. Она устала. Она впервые побывала на концерте, да еще в таком подавляюще огромном собо-

ре, впервые ощутила невероятную отдаленность, пугающую бестелесность Леона, когда ей казалось, что он уплывает под парусом органичных труб и больше к ней не вернется; когда уже не верилось, что только вчера в их жизни был упоительный бег нагишом вперегонки по коридорам замка. Сегодня она впервые ощутила энергию его напряженных губ и языка, совсем иначе напряженных, чем в минуты любви... впервые пережила мгновения, когда чудилось – сейчас, на могучем выдохе, он поймет с оголенной ясностью: бремя профессии, да еще *такой* профессии несовместимо с бременем *такой* любви... И когда все закончилось и она осталась сидеть на скамье в опустелом соборе, одна, уже не веря, что он вернется прежним, Леон вдруг появился внизу: прекрасно-концертный, юный, одинокий, встревоженно озираясь и обшаривая взглядом ряды скамей. И она вскочила с безумным воплем, а он припустил к ней, как мальчишка... Сейчас ей хотелось лишь одного: склонить голову на его плечо в строгом фраке и закрыть глаза; а лучше утащить его, обвить всем телом, проникнуть в него каждым росточком, каждой клеткой кожи. Но напротив, весело чиркая глазами в ее сторону, сидел высокий, худой, длинноволосый молодой человек, не желавший отпустить внимание Леона ни на минуту. И она сочла нужным приглядывать, чтобы у Леона все было хорошо, – вдруг этот парень чем-то ему нужен? Она не догадывалась, что именно Леон был нужен парню до зарезу, так нужен, что тот говорил и говорил, заглядывая в глаза певцу,

а попутно улыбаясь и Айе:

– Подумать только: сегодня все искусство барокко кажется настолько уравновешенным, а ведь в семнадцатом веке под этим словом подразумевали чуть ли не «варварскую готику». Да совсем недавно Бенедетто Кроче в своей «Истории итальянского барокко» утверждал, что «историк не может оценивать барокко как нечто положительное», что это – «выражение дурного вкуса»!

Леон что-то отвечал, такое же заумное, что-то про *сознание современного человека, у которого в бэкграунде есть и Освенцим, и Хиросима, и пронзенные башни-близнецы, так что любое барокко покажется чуть ли не музейным выражением чувств*. Тот засмеялся и покрутил головой:

– Но, маэстро Этингер, ваше исполнение было далеко от музейного! И весьма далеко от уравновешенного. Я, знаете ли, сегодня вряд ли засну... Это удивительное сочетание в вашем голосе ангельской отрешенности и какого-то... не могу подобрать точного слова: дьявольского искуса, чуть ли не греха – чего-то преступного, обольстительного... простите, если вас это задевает... – И никак не отставал, и приглашал-соблазнял Леона... Какой-то там блудный сын или что-то вроде. – Я слышал диск с вашим «Блудным сыном», – торопливо продолжал он, – это стало для меня настоящим шоком! Я был под впечатлением недели две и, знаете... в одну из ночей вдруг меня осенило: а что, если иначе оркестровать эту ораторию? Добавить в нее голос мальчика, а? Чи-

стый безгрешный альт. Вы же с вашим бесподобным *совратительным голосом* будете – знак греха, падения, душевной низóты... А в финале – дуэт этих двух голосов, как сама адская амбивалентность человеческой натуры, как два крыла падшего ангела, где – и высота, и страшное падение в бездны порока...

– Мерси, – насмешливо-любезно отозвался Леон. – Значит, мне вы уготовили все самое ужасное, а какой-нибудь семилетний засранец, только что из подгузника, воспарит таким белоснежным ангелом? Симпатичная идея, ничего не скажешь...

А тот вроде и не слушал возражений певца, всплескивал длиннопалыми мосластыми руками, отбрасывал со лба длинный чуб, уговаривал, уверял:

– Но трактовка, согласитесь, оригинальная... Совершенно новый взгляд на тему. Все мы знаем эту притчу в евангельском варианте, у Луки. А ведь есть хасидская версия притчи, и там – послушайте, послушайте, это страшно интересно: там рассказывается, что в чужих странах блудный сын *забыл родной язык*, так что, вернувшись в отчий дом, не смог даже попросить слуг позвать отца. Тогда он в отчаянии *закричал!* И слепой старик-отец узнал его голос. Понимаете? Я представляю, как он – нет, вы, вы, маэстро! – запоет страшным голосом! Что?... Нет, это я сам придумал, сейчас. И непременно воспроизведу этот крик! Представляю ваш потрясающий по силе голос грешника, припавшего к родному порогу!

И – вопль, леденящий вопль отчаяния: внезапное *tutti* всего оркестра или хора, громкий аккорд на уменьшенном трезвучии! Помните, Масканьи в финале «Сельской чести» после бабьего визга: «Они убили кума Турриду!» – передает общий хоровой вопль в до мажоре? Между прочим, – понизив голос, заметил он, – метафора встречи отца и раскаявшегося сына в еврейской литургии связана с наступлением Нового года, когда всюду трубит шофар – ритуальный рог. Так вот, звук шофара символизирует и голос Блудного сына, как голос всего народа, взывающего к Небесному отцу в надежде на прощение...

Айя почему-то чувствовала – плечом, ладонью, гуляющей по колену Леона, что ему хотелось бы завершить этот разговор. Потянувшись к его уху, спросила:

– Кто этот зануда?

И он, слегка повернув к ней голову, беззвучно по-русски выплел губами:

– Композитор, очень талантливый, уже известный и, как полагается, – немного чокнутый.

Она кивнула и сказала:

– Очень хочется стать блудной дочерью. Может, смоемся?

Леон немедленно оборвал разговор с длинным занудой, извинился, поднялся и, чем-то отбредиваясь, пожимая кому-то руки, кому-то кланяясь, кому-то улыбаясь, с кем-то прощаясь, припадая к чьим-то щекам, рукам и плечам, стал отступать, увлекая за собой Айю. Вот еще остановка:

– Рик, старина, сегодняшняя прогулка по реке – незабываема! Вы разрешите позвонить вам когда-нибудь по сугубо физическому вопросу? Благодарю, потому что...

Наконец вышли на волю – в крапывающий дождик, в желтоватое электрическое небо, исчерканное проводами и шпилями, загруженное зубчатыми стенами университетских башен, между которыми обезумевшим призраком неслась бледная луна. Темные улочки были затоплены мощной сладостной волной весенних запахов, мокрой травы, набухших почек – и они долго гуляли, немного заблудились, вышли к реке с витающими над ней легкими прядями тумана. Останавливались перед афишками, наклепанными на острия высоких чугунных оград, прочитывая их в свете фонаря и смешно выворачивая наизнанку фамилии лекторов и исполнителей (Леон так лихо присобачивал дикие имена и окончания к почтенным фамилиям, что Айя даже ослабела от хохота). Он то и дело строго вытаращивал глаза и говорил, что «перед Лондоном надо хорошенько выспаться».

Но, оказавшись в номере, продолжал колобродить, мотался из угла в угол, не снимая фрака, натываясь на кровати, очень много говорил, словно бы недопел, недовысказался там, когда стоял под органными трубами... Сидя в постели, Айя молча следила за его передвижениями, терпеливо ожидая, когда он утомится.

– Я украл яблоко! – вдруг вспомнил он, остановился и запустил руку в карман висевшего на стене плаща. – Хочешь? –

Присел на кровать и протянул: – Кусай! А между прочим, то, что предлагал сегодня Вернон... ну, этот, хмырь лохматый, симпатичный псих, – то, что он предлагает сделать с «Блудным сыном»... это не лишено, знаешь, некоего пронзительного смысла...

И лишь когда они, откусывая по очереди, доели довольно вялый плод, Леон с каким-то сожалением стянул фрак, медленно снял рубашку, расстегнул и стащил бабочку – совершил обратные действия предложенного ему утром преобразования Голоса, *до роста в бедном теле...* Разделся и лег, и она обняла это *бедное тело*, тихо поглаживая кончиками пальцев, чтобы *после своей музыки* он переключился на другой объект – на нее. Нежно поглаживала горло (вот здесь он живет, этот его таинственный голос? отсюда, что ли, растет?), грудь, медленно, томительно перемещая руку все ниже, вытанцовывая на его животе па-де-де своими балетными пальцами...

Вдруг, перехватив ее руку, Леон поднес ее к губам, поцеловал и уложил легкой рыбкой к себе на грудь, и ладонью прихлопнул... И Айя поняла, – рука ее неугомонная поняла: от его груди исходил покой до конца излитого чувства. Такой глубокий покой, что невозможно, бесполезно и даже грешно было его баламутить.

В тот вечер она впервые осознала, что у нее есть грозная соперница – Музыка; что после концертов (не всех, но тех,

которых особенно ждет, перед которыми почему-то сильнее волнуется), он бывает настолько истощен – не физически, а душевно, – что на обеих его попросту не хватает; не хватает той могучей волны, что и в любви, и в искусстве выносит на гребень вдоха к вспышке ослепительной свободы. И впоследствии никогда не обижалась, чувствуя в нем это святое опустошение – куда полнее, чем после ночи любви... А с годами научилась понимать и предугадывать – гораздо чутче даже его самого – такие вот ночи; научилась принимать его потребность в одиночестве. И тогда молча прихватывала подушку и необидчиво уходила на кушетку в его кабинете: ей ведь с юности было абсолютно все равно, где приклонить голову...

Она приподнялась на локте и задумчиво проговорила:
– Сегодня было красиво. Ужасно красиво...

Он не сразу отозвался, не сразу понял ее – ведь в музыке сегодня было так много красивого; а сейчас она и сама была так волнующе красива в свете одинокого фонаря за окном, что мягко лепил тусклым золотом ее плечи, шею, ключицы и грудки-выскочки, придавая им целомудренное, чуть ли не иконное сияние.

Она пояснила:

– На концерте. Знаешь, была какая-то великая гармония между ритмами гигантских витражей, стрельчатых сводов этого устрашающего потолка и... ритмами музыки.

– А ты разве, – неуверенно спросил он, – неужели ты?..

– Я чувствовала шелест органичных выдохов по телу, как дыхание кашалота, – торопливо объяснила она, – тяжкий, мерный, какой-то... преисподний зов в груди собора. И вдруг как подхватит, как... унесет к потолку! Такой ветер – кругами – внутри Часовни. И ты – в центре этой безумной спирали.

– А... мой голос? Хотя бы чуть-чуть...

– Нет, – сказала она честно. – Просто ты сам: одинокая душа в адском молчаливом вихре; как Желтухин в буре.

– И всё?.. – прошептал он.

– И всё, – повторила она спокойно.

Он лежал на спине, а она пальцем рисовала у него на груди вензеля, безмятежно улыбаясь. Вмиг он вспомнил своего дауна Саида, доверчивое лицо, благодостное неведение своей ущербности: «Ты всегда мне будешь рассказывать интересные истории? Ты останешься со мной навсегда, будешь моим братом?» Сердце вскрикнуло, будто кто-то сжал его в горсти, захлебнулось такой болью, что горло перехватил спазм рыдания, совладать с которым не было возможности. И он – вот стыдоба – рванул с кровати («черт, съел что-то!»), заперся в ванной и, до упора запустив холодную воду из крана, сотрясался над хлещущей струей в неудержимых молчаливых горловых спазмах, ополаскивая лицо холодной водой и без конца повторяя: «Бедная моя... бедная моя... бедная...»

Приютом странной семейки (он, она и *канарейка за копейку, чтобы пела и не ела*) Леон выбрал скромный *bed and breakfast* в центре Лондона, на тихой полукруглой площади, в окружении таких же маленьких гостиниц и небольших уютных сквериков с университетскими теннисными кортами. Гостиница, скорее пансион, принадлежала пожилой супружеской паре итальянского происхождения. Здесь был вышколенный персонал – молодые ребята из Латвии и Литвы, а небольшой холл каждое утро встречал постояльцев ошеломляющим ароматом лилий, ибо огромный свежий букет всегда стоял в высокой напольной вазе. Все уютно и неназойливо, три звезды и, что важно, три сотни подобных гостиниц по всему Лондону и его предместьям – запаритесь отлавливать Камиллу Робинсон с супругом и «попугайчиком»...

* * *

Подписание контракта в *English National Opera* (как же был горд Филипп, добыв его, горд, как курица, снесшая золотое яйцо, – и надо признать, это яйцо таки заманчиво поблескивало с разных сторон) – должно было состояться днем и занять часа полтора, включая ланч с директором и двумя

спонсорами проекта.

На дружеский визит к кальсонам Энтони Олдриджа, известного музыкального критика и декана Королевской академии музыки, в сущности, хватило бы и часа. И этот визит состоялся и немало порадовал и Леона, и Айю, так как обещанные исторические кальсоны по-прежнему идиллически сохли на веревке над кухонной плитой.

Энтони Олдридж жил в Найтсбридже, одном из очаровательных мест старого Лондона, в старинном особняке на Монтпельер-сквер, некогда принадлежавшем кому-то из композиторов восемнадцатого века – то ли Уильяму Бойсу, то ли Томасу Арну.

(«Впервые слышу об этих достойных пацанах», – невозможно отозвалась Айя на воодушевленный рассказ Леона.)

Музыкальная и прочая публика посещала Энтони Олдриджа еще и из любви к истории отечественной музыки: по уверению хозяина, четырехэтажный дом бурого кирпича в георгианском стиле, с обязательным садиком вокруг могучего каштана, с XVIII столетия сохранился нетронутым.

Дом, который посещали Клементи, Мендельсон, Бриттен и еще с десяток звезд музыкальной вселенной, нехотя разворачивал перед гостями свои полутемные тесные комнаты с обоями «Уильям Моррис», с коричневыми, будто облитыми яичным желтком картинами, со старинным клавесином, письменными столами английского ампира, скрипучими лестницами, нелепыми тупиками и странными, никуда не

ведущими переходами. Весь он был пропитан тусклыми запахами старого дерева, просмоленных балок потолка и сгоревших в камине дров. Тяжелые бронзовые люстры на корабельных цепях висели так низко, что даже Леон умудрился здесь дважды набить себе шишки. Запутанная топография жилища была притчей во языцех и у гостей, и у хозяев: «Если вы хотите в конце концов вернуться домой из ознакомительного похода по одной из страниц истории музыки, – говаривал Энтони, – вам следует вначале хорошенько изучить схему этажей и переходов». Схема была остроумно вывешена в подслеповатой прихожей.

Леон бывал здесь примерно раз в году, за компанию с Филиппом (тот приятельствовал с Энтони, хотя за глаза называл его «старым ослом»), и при всей своей отменной памяти помнил только гостиную с некрашеным деревянным полом и с камином в стиле «Джеймс Уайат» и – по коридорчику направо – кухню с вышеупомянутой чугунной печью и непременными над нею кальсонами. Отдельным аттракционом гостю предлагался обязательный визит в туалет: по преданию, там водилось какое-то музыкальное привидение.

Пока в гостиной Леон с хозяином обговаривали программу мастер-классов в Королевской академии музыки, Ая отправилась в свободное плавание по всем этажам, лестницам, аркам-переходам и каморкам полутемного дома, мысленно чертыхаясь в яростной тоске по фотике: обнаружи-

ла пропасть невероятных вещей, например, огромную хромую царь-шарманку, расписанную грехами и ужасами в стиле Босха, а также старинный дамский манекен с оторопелым личиком без скальпа и ампутированной выше колена ногой.

На обратном пути заглянула и в туалет, милую викторианскую комнатку с веночками резеды на обоях. На подиуме урчал допотопный унитаз с высоко подвешенным, словно бы вознесенным на некий умозрительный олимп фаянсовым бачком.

Когда собралась выйти, обнаружила, что заперта, и минут пять ломилась в дверь, пока не сообразила, что это не козни пресловутого привидения, а проделки Леона. Она притихла, и он мгновенно отпер, рванул на себя дверь, выволок Айю в темный коридор и там облапил, дыша коньяком и приговаривая:

– Музыкальный моментик... пьеса Шуберта...

– Ты с ума сошел?! – прошипела она, отбиваясь и смущенно оглядывая коридор поверх его плеча.

– Никого нет! – сообщил он, сверкая в темноте своими ослепительными зубами. – Мы брошены на произвол привидений. Англичане, как известно, эксцентричны: даже из собственного дома уходят, не попрощавшись.

Выяснилось, что «старый осел Энтони» и правда вылетел из дому посреди разговора, внезапно вспомнив о каком-то срочном деле, так что еще минут сорок гости пили чай на хозяйской кухне, угощаясь яблочным пирогом (который са-

ми и принесли), наперебой предлагая версии на тему вечно-зеленых кальсон: «У него их две пары, он стирает их по ночам, деля с семейным привидением... Нет! Это мемориальные кальсоны Мендельсона: он оставил их здесь, обделавшись после встречи с...»

Именно яблочный пирог вкупе с распитой на двоих бутылкой дешевого хереса, обнаруженной в одном из хозяйских шкафов, окончательно их помирил.

* * *

...А ведь не разговаривали целое утро – пока на электричке ехали из Кембриджа в Лондон, устраивались в отеле и затем подземкой добирались до дома Энтони Олдриджа.

Вернее, она с ним не разговаривала: нарочно отворачивалась, чтобы не видеть его лица и не отвечать на вопросы, руку отнимала – рыцарь, закованный в латы своей глухоты. Но старый георгианский дом, и трогательные кальсоны над плитой, и туалет с привидением, и бутылочка трофейного хереса, распитая в отсутствие странного английского джентльмена... Словом, Айя не то что перестала сердиться, но смягчилась, повернула к Леону лицо, повела своей роскошной бровью – приняла Леона к сведению.

Дело в том, что на рассвете, еще из студенческой кельи в Кингс-колледже он самовольно послал с ее телефона корот-

кую записку Фридриху. Для начала прощупать почву: «Фридрих, я в Лондоне. Можно связаться с тобой?» Спустя минуту (да что он, не спит в шесть утра?) телефон завибрировал – будто от ужаса или нетерпения. Пришло сообщение: «Дорогая моя девочка непременно появишься! Жду-целую! Фридрих».

– Отлично... – пропел Леон, озадаченно глядя на краткое, но столько вместившее послание.

Да это же восхитительно, вы только подумайте: «дорогая моя девочка»... его дорогая девочка... и «жду», и «целую»... Что это значит? Расчетливое заманивание? Но даже и тогда текст был бы другим. Значит, все эти «девочки» и «целую» были в обиходе их отношений?..

Ну, проснись только... только проснись! Тебе придется объяснить убедительнее, чем раньше, эту «дорогую девочку»...

И сидел голяком на краю уютной кровати, искоса рассматривая безмятежно спящую «его девочку», пока не задубел, как ледышка, так что холодный душ спартанской гостиницы даже не показался ему чудовищным английским издевательством.

А она, проснувшись, впала в ярость: да как он смел распорядиться ее личным телефоном, пока она спала?! Да, договаривались, но у него нет никакого права без ее ведома!!!!. Даже в руки брать ее личные!!!!.

«Фу-ты ну-ты, Манька-Карамель», как говорила Стеша.

И опять: «Я не-е в тюрьме-е-е, гра-ажданин нача-а-аль-ник!»

Зато он на сей раз был невозмутимо холоден: просто объясни, мне очень важно – какие на самом деле отношения вас связывали. Мне важно, понимаешь? От этого зависит вся моя концепция...

– Па-ашел к черту со своей ка-а-анцепцией!

Что ж, коротко и ясно. И очень громко для гостиничных покоев Кингс-колледжа. И – хмурое молчание всю дорогу, и вздернутое плечо, и грубо отнятая рука... *Мегера, стерва, глухомань!*

Мог ли ты когда-нибудь себе представить, чтобы так ныло сердце от одной лишь идиотской мысли, что они, что у них... Когда-то было это – с Габриэлой. Но – дядя, где твои семнадцать лет?!

* * *

В Лондоне Леон предпочитал азиатскую кухню. Так что на Шарлотт-стрит выбрали маленький корейский ресторан. Наугад зашли, перехватить по сэндвичу.

На аперитив тут подавали соджу разных вкусов – дынный, лимонный, арбузный...

Рослый официант с непроницаемым лицом и короткой толстой косичкой на затылке принес большую бутыл темного стекла и принялся за обычный спектакль: скупым вра-

щательным движением крутнул ее, потряхивая, откупорил и, уважительно сжимая в обеих руках, отлил чуток в бокал, после чего наконец разлил настойку в две специальные стопки для соджу.

Чем-то он похож на... Виная, думал Леон, провожая взглядом широкую спину молодого человека. Сочетание хватки и расторопности?... Нет, не то, другое тут, другое...

Вдруг с удивительной четкостью, зрительной и звуковой, с целым павлиным хвостом запахов летней левантийской ночи – мирт, жасмин и лаванда, которую старик обожал, – возник тот поздний ужин с Иммануэлем, перевернувший всю жизнь Леона. Желтая струя электрического света в голубом кристалле бассейна, шевеление над головами мощно оперенных опахал двух старых пальм и удивительно живое лицо очень старого человека в инвалидном кресле напротив.

– ...Я не говорю об оправдании убийства, я не о том... Слушай, цуцик, в конце концов, это действие имеет только один древний очевидный смысл: отнять у божьего создания жизнь, подаренную отнюдь не тобой. За это человек несет несмываемую каинову печать. Но! Есть ситуация, при которой убийство человека оправданно и даже вменяется в обязанность мужчине: если тебя преследуют.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.